

АЛЕКСАНДР ЛЫСКОВ



СТАРОЕ ВИНО  
«ЛЕГЕНДЫ АРХАРЫ»

# **Александр Павлович Лысков**

## **Старое вино «Легенды Архары» (сборник)**

*Издательский текст, shum29*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=24256504](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24256504)*

*Старое вино «Легенды Архары»: Издательский дом «Сказочная дорога»; М.; 2017*

*ISBN 978-5-4329-0121-7*

### **Аннотация**

Последние два романа Александра Лыскова – «Красный закат в конце июня» (2014 г.) и «Медленный фокстрот в сельском клубе» (2016 г.) – составили своеобразную дилогию. «Старое вино «Легенды Архары» завершает цикл.

Вот что говорит автор о своей новой книге: «После долгого отсутствия приезжаешь в родной город и видишь – знакомым в нём осталось лишь название, как на пустой конфетной обёртке...

Архангельск...

Я жил в нём, когда говорилось кратко: Архара...

Тот город навсегда ушёл в историю. И чем дальше погружался он в пучину лет, тем ярче становились мои воспоминания о нём...

Бойкая Архара живёт в моём сердце. Я не могу не рассказать о ней, а попутно – и о почтенном Архангельске...»

# Содержание

Часть I	6
Капитанша Майка	6
Гиганты	19
Безработица в Париже[4]	44
Дуня и Валентайн	61
Ваня Чёрненький	78
Последний бал К. Г	100
Дом для девы	113
Воришно болото	132
Ульян Ожогов	136
Конец ознакомительного фрагмента.	149

**Александр  
Павлович Лысков  
Старое вино «Легенды  
Архары». История  
славного города в  
рассказах о его жителях**

© Лысков А.П., 2017

© Лысков А.П., иллюстрации, 2017

© Издательский дом «Сказочная дорога», оформление,  
2017

\* \* \*



*Александр ЛЫСКОВ родился в 1947 году в Архангельской области. После учёбы в Архангельском лесотехническом институте работал инженером на Архангельском ЦБК. В 1991 году окончил Высшие литературные курсы, с тех пор живёт в Москве и занимается литературной работой. Автор многих книг.*

# Часть I

## Карусель

### Капитанша Майка

Скорее доска с парусом, виндсёрфинг с лавочкой для сидения, чем яхта (теперь их отливают из пластика), – вот уж истинно «мыльница», тоже всегда сырая, скользкая, в отличие от фотоаппарата с одноимённым прозвищем (а тогда их клеили из шпона, они были фанерные, эти «финны»).

Словно какой-нибудь каяк, корпус его можно было тоже одному перетащить на воду или при сильном волнении в гавани втянуть на берег.

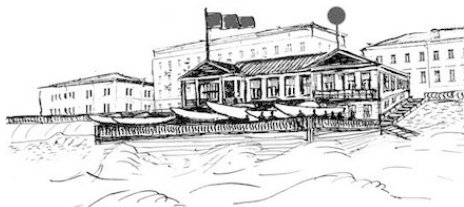
Ну, вдобавок к рулевому, девушку на своём борту «финн» ещё выдерживал, но с тремя – уже черпал бортом.

Они, эти мелкие судёнышки, даже имени не удостоивались – номер на парусе – и достаточно, будто и не корабль вовсе, хотя своим ходом и размером именно «финны» напоминали самых благородных морских тварей – дельфинов (а какая рифма!).

Лучшими финнистами в яхтклубе тех лет были Кок и Рог. Чернявый вёрткий Рог (Алик Рогов).

И рыжий увалень Кок (Женька Коковин).

Один – маленький, живой, привязчивый, как муха, до-  
тошный до тошноты.



Другой – массивный, задумчивый молчун с наружностью  
и в самом деле повара – кока.

Они были неразлучны, всегда ходили вдвоём. Ноги низ-  
корослого Рога мелькали, как спицы в колесе.

Кок с каждым выбросом ноги цеплял каблуком землю,

будто трактор траком, цеплял и подтягивал, цеплял и подтягивал.

Рог зимой играл вратарём во втором составе «Водника», в воротах был удивительно прыгуч, пользовался популярностью у болельщиков, а как аспирант лесотехнического института – особым уважением босса – начальника яхт-клуба, бритого налысо сидельца сталинских лагерей.

А Кок был мотороллеристом. Гонял по городу на трёхколёсном фургончике, развозил товары по магазинам. Его угнетала эта запись в трудовой книжке – «мотороллерист», он считал её для себя унижительной и не понимал, почему нельзя было отделу кадров провести его в штатном расписании под благородным именем мотоциклиста, как он просил...

Перед началом навигации яхте Кока потребовался ремонт. Когда он перевернул свой «финн» днищем вверх, посмотреть на пробоину сошлись все, кто поблизости шкрабил, грунтовал, красил, полировал посудины, как это всегда бывало на веранде яхт-клуба в мае.

Стояли молча. У одного борта увечного «финна» Рог – с висящей на шее «Спидолой».

Напротив него – Кок, засунув руки в карманы широких брезентовых брюк.

У него спрашивали, как он будет заделывать пробоину. Он молчал.

– Если человек состоит из жидкости, то в Коке жидкость



тормозная, – сказал Рог.

Все засмеялись, а Кок лишь нахмурился, медленно-медленно отвернулся и с прищуром стал смотреть куда-то через плечо, за спину. Он страдал от обилия разговоров, от многословия и многолюдья, будто аллергик от цветочных запахов.

Вынужденный оставаться в буче трёпа, чтобы отвлечься, обычно он брал монету, подкидывал щелчком и ловил. Или выкручивал себе ухо. Или зевал, распахивая во всю ширь розовую пасть, оснащённую полным набором первосортных зубов, и оглядывался, где бы прилечь.

Но терпение его было небеспрельным. Случалось, и самая безобидная подначка вдруг срывала его с места, и он с наскоку валил обидчика на землю, – никогда не бил, довольствовался одним борцовским одолением.

Только головастому Рогу (и вправду большеголовому) прощал Кок любые подколы по причине какой-то братской любви – с детства они по одному коридору на самокатах гоняли, на одной коммунальной кухне получали ложками по лбу и закалялись на сиденьи одного ужасного, холодного, щелявого нужника (туалетом назвать язык не поворачивается) в кособокой двухэтажной хибаре на болоте Обводного канала...

Но в гонках рубились безоглядно. Ходили на своих «финнах» одинаково мастерски, пересекали финиш нос в нос, а если Кок и отставал, то лишь в тихий ветер по причине восьмидесяти килограммов веса в сравнении с пятьюдесятью пя-

тью Рога...

Когда в приёмнике Рэй Чарльз своим хрустящим баритон-ом рассказывал, как он ехал до Чаттануги, припевая, словно паровоз, «чу-чу», к собравшимся вокруг раненого «финна» подошла Майка Жукова – рулевой женского экипажа «дракона» – устойчивой и безопасной яхты, вопреки устрашающему названию её класса.

Рэй Чарльз пел в это время:

There's gonna be  
A certain party at the station  
Satin and lace  
I used to call «funny face»  
She's gonna cry  
Until I tell her that I'll never roam...<sup>1</sup>

Майка вполне бы сошла за милашку из песни, только с поправкой на время, – одетая не в атлас и шёлк, а в акрил и нейлон. Милость её была двойная за счёт «короткой уздечки языка», что придавало её речи очаровательное прищёптывание.

Алик у неё получался чисто, а на Кока изливалось это обворожительное «Зенецка», что, возможно, и стало поражающим элементом для сердца великого молчальника.

---

<sup>1</sup> Там быть должна Одна особа на вокзале, Атлас и шёлк, В милашках знаю я толк. Будет рыдать, Чтоб я умерил дух бродяжий... Чтоб не шнырял как одинокий волк.

Рог, липнувший к Майке, помня о ней как о дочке крупного чиновника, намекал ей на серьёзные намерения, что её, выпускницу пединститута, должно было бы интересовать, но ей больше нравилась влюблённость Кока – дистанционная, безрассудная, чистая.

Если Рог всегда вился вокруг Майки похотливым кобельком какой-то декоративной породы, то Кок издалека смотрел на неё и непременно исподлбья.

Рог был бабник и не раз уже возил на своём «финне» девчонок на другой берег Двины в кусты черёмухи.

Кок был невинен, и Майка, видимо, чувствовала это, будучи и сама скромной девочкой.

От нападков Рога она отбивалась со смехом.

А Кока однажды даже пригласила прокатиться на своём «драконе». Если бы не преувеличенное представление о мужественности, быть бы Коку её парнем, но он, единственный кормилец матери-инвалида и младшего брата, воспитавший в себе крайнюю самость, не мог позволить оказаться в роли катаемого, как девчонки. В свою очередь, пригласить Майку пройтись на вёртком «финне» считал унижительным – для неё, капитанши...

А между тем пробоина в днище руками Кока уже заделывалась куском алюминия – запасливый Кок добыл этот лёгкий металл на свалке самолётов в Кегострове ещё прошлым летом.

– Хотя бы резину под заплату подложил, что ли. Проте-

чёт, – советовали ему.

– Кусок от ероплана теперь у него. Нестрашно. Теперь это не «финн», а истребитель.

– Подводная лодка. Только из гавани выйдет – и ко дну.

Издевались, как всегда, над безответным упоённо и беспощадно в присутствии Майки, но что стало самым болезненным для Кока – что и она смеялась.

Он растолкал весельчаков, одним махом перевернул свою яхту на киль и поволок к воде.

В это время, вполне по-майски, резко изменилась погода. Со стороны кузнечевского русла подкатила грузная туча и опорожнилась мокрым снегом.

И будто затычку в небе вышибли – оттуда же, с норд-оста, хлынул ледяной ветер, пронизывая насквозь, вырываясь на просторы реки несколькими потоками из труб-улиц, словно из труб аэродинамических.

Это был знаменитый шторм со всеми признаками урагана, когда сорвало крышу с кинотеатра «Победа», выкинуло лихтер на мель городского пляжа, лопнули цепи в запани одного из лесозаводов, и отборный лес массово «эмигрировал» в Норвегию.

Всё произошло быстро.

Только что гладкая, обсыпанная солнцем река в километр шириной вдруг превратилась в огромную площадь, вымощенную камнями, затем её будто усеял белый лебяжий пух, и гребешки начали свиваться в жгуты, на них завязались уз-

лы барашков, обнаруживших наконец водную природу срывающимися с них брызгами, и вот уже с высоких волн слетают полотнища пены как бы в стремлении воссоединиться с низкими тучами...

Эти грандиозные изменения произошли за то короткое время, когда Кок под прикрытием веранды, будучи в своём «финне» уже на плаву, вздёргивал парус, старательно направляя его в узкий паз мачты.

Из-за грохота ветра он не слышал, как по радио голосом босса был объявлен запрет на выход из гавани, не видел, как над яхт-клубом взвился красный флаг и чёрный шар.

Некоторое время, правда, ещё доносились до него голоса недавних насмешников, выстроившихся вдоль перил веранды и пытавшихся остановить его, что только подстёгивало теперь мстительную гордость Кока и отрезало путь назад.

Он оттолкнулся, вскочил в яхту и, вдев ногу в ремень, сразу набрал шкоты и выбросился для откренивания...

Ветер наваливал его на пирс. Волны ударялись в деревянные сваи, выламывали доски настила и разделялись надвое – на облако брызг и оmyвающий вал.

Здесь, на выходе из гавани, за стеной многоэтажных домов набережной, прежде чем врубиться в кипень фарватера, Кок ещё позволил себе подразнить остряков на веранде, сделал полный поворот (так пилоты прощально качают крыльями) и после этого на фордвинде (ветер сзади) взлетел на крутую зыбкую гору, на её вершине ещё демонстративно по-

финтил и скатился вниз, исчез из виду, как говорится, ухнул в пучину.

На веранде под ударами ветра все молчали в недоумении от поступка Кока. Никто не восхитился его отчаянностью, все были подавлены. Оценка Рога – «безмозглый тупица» – кажется, всех удовлетворила.

Лишь Майка забралась в брюхо своего «дракона» на стапеле и плакала, в забытии страдания позволяя утешающему Рогу дружески себя обнимать...

– «Финн» двенадцать, «финн» двенадцать! – раздавался голос из радиодинамиков. – Немедленно вернитесь в гавань!..

Видимо, не надеясь на мощность репродуктора, босс выбежал на веранду и, встав к барьеру, принялся орать в жестяной раструб на разрыв аорты:

– Коковин! Быстро назад!..

Он был бессилен. Только что в разговоре с диспетчером порта ему было отказано в помощи. Единственный спасатель «Тритон» возился с терпящим бедствие лихтером, а катеру водной милиции тоже запретили выходить.

Боссу оставалось молча наблюдать, как один из парусов вверенной ему флотилии мелькал над волнами всё реже и реже, пока наконец не слился с ключьями пены и по цвету и по размеру..

... Воды в корпусе было уже по щиколотку, и вовсе не из-за небрежности в ремонте, – «финн» черпал и носом, и

бортом, и кормой из-за «неправильных» речных волн в городской черте. Надо было бы уменьшить парусность, но Кок медлил, а, дождавшись наконец волны повыше, мчась с неё на бешеной скорости, открыл клапаны в транце, – воду из корпуса словно бы высосало подчистую, и прежде чем в эти окна опять хлынуло, он успел опустить защёлку.

Идти приходилось до сих пор на фордвинд, и в виду яхт-клуба долго ещё для самолюбия Кока оставалось самым опасным и страшным на глазах у согладатаев сделать оверкиль – кувырок после зарывания яхты носом в волну, когда тебя выбрасывает, словно катапультой, на посмешище публике метров на десять вперёд.

Вот тут-то игодились Коку лишние двадцать килограммов костей и мышц...

Эти дополнительные килограммы служили ему, как стальная чушка в тонну на конце шверт-киля «дракона», конечно, в пропорции.

(Он не любил килевиков, как и Рог. Всегда высокомерной ухмылкой давал понять, что вполне согласен, когда друг изрекал примерно следующее:

– Килёвки для баб!.. Любой «финнист» пройдёт на килёвке в любой ветер. Чего там у вас надо? Взял рифы, выкинул плавучий якорь – и в кокпит кофе пить... Капитаны, тоже мне!.. Мореманы-кругосветчики... А на «финне» вы, такие все крутые, до первой смены галса...)

Кок понял, что не погибнет, улучил момент и оглянулся.

Города не было видно вовсе – он был залит сверху дождём. Казалось, с северо-запада обрушивалась на город ещё одна река, неизмеримо более широкая и могучая, чем та, что текла в берегах.

Брезентовые брюки Кока намокли и стали, как фанерные.

От порывов ветра расстегнулся патент – молния на его вельветовой куртке, голая грудь сверкала, словно костяная, а мокрые волосы облепили голову и уже не развевались на ветру..

Впереди в пелене дождя показался какой-то берег.

При смене галса парус трепетал и подкидывал гик.

Этот деревянный брус рубил пространство над ныряющим под ним Коком и с треском расхлопывал парусину будто гигантская мухобойка.

Кусты набегали стремительно.

Кок поднял шверт, убрал парус задолго до берега и был вынесен в устье мелкого ручья, на один из множества неизвестных островов дельты реки.

Ночевал он под перевёрнутым «финном», завернувшись в парус, как зверь в норе...

Утром подмороженная мокрая парусина трещала при разворачивании. Он вылез из укрытия и стоял, зачарованный ярким светом, застывший от холода, словно бы вмёрзший в голубизну небес. Над ним сияло холодное неугасимое солнце мая, лёгкий ветер доносил запах Карского моря...

К яхт-клубу «финн» бежал резво, часто бил «скулой»



в мелкие упругие волны, яхту потряхивало, как телегу на ухабах.

В утренней тишине пудовые мокрые ботинки Кока с железными подковами на каблуках звучно грохотали по настилу веранды, когда он нёс мачту в сарай.

Возле стеллажей мачта выскользнула из закованных рук и ударила по доскам, как огромная колотушка по литавре.

Из кокпита Майкиного «дракона» высунулась голова Роба.

Он извергнул из своей глотки самые грязные ругательства, замешанные на братской любви.

Кок стоял и улыбался, опустив голову, шевеля стопами в ботинках и глядя, как из дырочек у шнурков прыскают струйки воды.

Вдруг рядом с Рогом встала Майка и тоже накинута на Кока с милыми упрёками: «Зенецка, Зенецка...»

Струйки перестали прыскать из ботинок. Кок стыдливо отвернулся от этой ночевавшей в яхте парочки, как будто они предстали перед ним нагишом.

Он долго не мог сдвинуться с места. Пытался застегнуть сломанную молнию на куртке. Язычок оторвался.

Он швырнул железку в воду, быстро, бегом, поднялся по лестнице и скрылся из глаз...

Ярости босса не было предела.

Он дисквалифицировал Кока, запретил ему появляться в

яхт-клубе, но скоро смиростивился: близилась регата, и надо было выигрывать у «Труда». Он послал за Коком его верного друга, который через некоторое время вернулся с заплывшим глазом. Он не успел сказать Коку, что с Майкой у них «ничего не было»...

Регату «финнисты» «Водника» проиграли.

Яхту Кока передали новенькому.

Парнишке рассказали о бесстрашной выходке прежнего хозяина «финна» и он потом благоговел перед посудиною с алюминиевой заплатой на днище.

А Кока теперь можно было видеть только на улицах города, на Троицком проспекте, похожем в те времена на пустынную гоночную трассу, – на всём его протяжении висели только два светофора, было где разогнаться его трёхколёсному, страшно трескучему «муравью», тоже, кажется, единственному на весь Архангельск...

*P.S.*

В конце девяностых годов Рог, профессор и доктор наук, уехал преподавать в Норвегию. Теперь живёт там.

Кок стал дальнобойщиком. Сначала водил потрёпанный старый КамАЗ, а теперь у него в аренде известный всему городу огромный «Freightliner» цвета «красный металлик».

Майка вышла замуж за человека, далёкого от парусного спорта.

У неё внуки.

# Гиганты

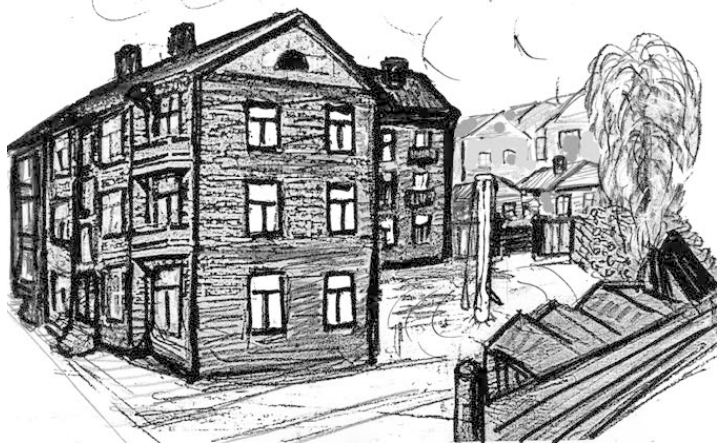
## 1

Одним крылом этот дом стоял на улице, другим – на переулке, и в его захвате образовывался обширный двор.

В центре двора был вкопан столб с четырьмя канатами. Это был единственный в городе дворовый аттракцион – «Гигантские шаги», а если коротко – «Гиганты».

На зиму канаты со столба снимали. Навешивали непременно к Первому мая. После чего начинало казаться, что вся жизнь дома вертится вокруг этого столба.

По ночам столб стоял одинокий, как всеми забытый клоун на ярмарке, с длинными рукавами-канатами. Утром дети по пути в школу усаживались в петли и разгонялись сначала мелкими шагами, потом с каждым толчком взлетали всё выше и выше, пока мамы из распахнутых окон несколькими громкими фразами не принуждали их продолжить путь к знаниям.



Потом возле столба бродили младенцы с няньками. Преодолевая страх, они дотрагивались до канатов крохотными пальчиками, как бы причащаясь к таинству полётов.

Затем место невинных созданий занимали прогульщики и хулиганы.

Их опять сменяли законопослушные ученики.

К вечеру двор был полон детьми — от дошкольников до всяческих верзил, от милых девочек в капорах (да, капоры ещё были тогда в моде) до зрелых девиц с кошачьими повадками и в юбочках — парашютиках.

Скамеек во дворе не было. Взрослые усаживались на ступени у подъездов, выходили на балконы, выглядывали из

окон. В их перекличках, в ребячьем многоголосье (от пронзительных визгов до горьких рыданий), в собачьем лае и музыке из радиолы слышались отзвуки большого праздника, народного гулянья, ярмарки, – четырёхместная карусель вращалась безостановочно.

Среди переростков, детей войны, жестокой безотцовщины (в отличие от залюбленных, нежных детей Победы) всегда находились добровольные ускорители. Такой Адька, Терка, Вилька (полные имена – Адольф, Геральд, Вилли, результат германофильства конца 1930-х годов) упирался длинной доской в канат, поднимал, разгонял и запускал толчком, как модель планера. Седоки вращались не только вокруг столба, но ещё и вокруг каната. Головы мотались. Перед глазами струились то полотнища облаков, то утоптанная глина, то голубятня на крыше дома, то гора опилок под стенами сараев.

«Завод» кончался, вот-вот летун должен был удариться боком о столб, но его успевал подхватить сильный помощник, сам тоже переживая восторг и упоение, с удовольствием впадая в детство.

Снова перед карусельщиком неслась лента из штор, половиков и ковров (трофейных немецких) на перилах балконов, женских платьев, мальчишеских разномастных кепок, тюбетеек (такая странная была мода, скорее всего, привезённая из ташкентской эвакуации), девчоночьих бантов, гераней на подоконниках...

Головы мотались, как пришитые, кукольные. От резко-

го поворота назад перед глазами словно бы распахивалась шторка в фотоаппарате ФЭД-2 (с выдвижным телескопическим объективом размером с катушку ниток), взгляд выхватывал перекошенное от восторга лицо толкача, а на следующем кругу он уже исчезал из обзора... Звучала «Кукарача», и Вилька Аксаков в широченных матросских клёшах бросал доску, пританцовывая, подбирался к девчонкам, уже бегающим парочками под бойкую румбу...

Зимой, со снятием канатов, у столба выхолащивалась суть столПа – основы, средоточия бурной жизни двора. Ему определяли унижительную роль держателя бельевых верёвок.

Наверно, нелегко ему было с его летучим, крылатым характером смириться со столь примитивным назначением – мрачно взирать на панталоны и кальсоны, похожие на останки канатоходцев, на чулки и лифчики разных размеров, на сплошные стены из заледенелых простыней, гулких, как листы ватмана (бельё стиралось в оцинкованных корытах, полоскалось в бездонной смертоносной речной проруби руками женщин, красными как гусиные лапы).

Если большие стирки затевались не чаще чем раз в месяц, то мать Вильки Аксакова, смуглая, суровая, с чёрными татарскими глазами, каждое утро выносила и накидывала на верёвку простынь с застарелой желтизной посередине, сполоснутую в тазу на скорую руку Ей, бесхитростной труженице в многодетной семье, и в голову не приходило, что она этой постирушкой выставляет на всеобщее обозрение самое

сокровенное в жизни её сына, — на полотне проступали отметины отнюдь не достоинства целомудренной невесты, а следы энуреза.

Злые, пронизательные сверстники Вильки всегда были готовы нанести ему удар ниже пояса, процедив сквозь зубы это свистяще-булькающее слово... Вилька смертельно обижался, лез в драку...

## 2

Вилька Аксаков был гением пинг-понга. Низко приседал с ракеткой в вытянутой руке, покачивался из стороны в сторону, словно кобра перед прыжком.

Рубаха пузырьём колыхалась под тощим, поджатым (поджарым) животом, матросские брюки с передним клапаном (мечта всех мальчишек) мешком висели на тощем заду.

Он накрывал мячик ладонью на ракетке, колдовал, кажется, даже что-то шептал, потом с силой дул в укрытие, закручивая шарик струёй воздуха, и затем ещё в момент удара дёргал по нему резиновой накладкой, после чего белое пластмассовое яичко летело рывками, словно бабочка, совершенно непредсказуемо, неуловимо для ловца.



Так он выигрывал все первые подачи.

Случались и проигрыши, но из шести геймов четыре всегда были его, и никаких тай-брейков!

Примерно на десятой подаче, уверовав в победу, он устраивал из игры театр. Запускал «свечу», вынуждал соперника далеко отбегать от стола, а сам с треском, напоказ, припечатывал ракетку к столу, приседал и делал вид, будто завязывает шнурок. На детских лицах расплзались улыбки ужаса («Ой, не успеет!»), но расчёт был точен. Вилька вскакивал и



гладиаторски беспощадно вонзал прилетевший шарик в самый дальний край стола, в недостижимости для соперника.

Аплодировать было не принято. Дети восторженно переглядывались, но у подпрыгивающих девочек хлопки всё-таки срывались.

Побивались Вилькой Аксаковым все теннисисты города, и неоднократно.

А с началом морской навигации этот самодельный, выструганный из досок стол становился ещё и международной ареной.

...Появлялся во дворе какой-нибудь греческий моряк в белых брюках и шёлковой рубашке с пальмами. Из своих широких штанин выкладывал на стол горсть пластинок Wrigley's Spearmint<sup>2</sup> – ставку на кон. А Вилька привычно произносил на дурном английском – портовом, указав на свою ракетку: «My bet»<sup>3</sup>.

Вилька засучивал рукава.

Грек – штанины, видимо, чтобы не запылились от топтания на спёкшейся глине.

Вилька колупал резиновые пупырышки на ракетке.

Грек улыбался всем вокруг и пробовал мячик на отскок.

Неожиданно его ракетка мелькала на подаче почти в плоскости стола, кручёный мяч ещё и до сетки не долетал, а лицо грека уже каменело в неукротимой ярости...

---

<sup>2</sup> «Ригли спирминт».

<sup>3</sup> Моя ставка (англ.).

Эллин изнемогал от проигранных геймов, морально разваливался, у него не оставалось сил ни на улыбки, ни на зверские рожи.

Как истинный южанин, он чуть не плакал после разгрома. Вилька обнимал его и утешал.

Рядом с пепельно-серым лицом грека светился узкий, болезненный лик Вильки, блестели увеличенные общей художбой его глаза, лицо кривилось в беспощадной улыбке – в эту минуту он был похож на оглашенных большевиков в революционных фильмах (в октябрьские праздники вывешивали экран на «гигантском» столбе и под стрёкот кинопередвижки показывали политическое кино).

Потом весь двор жевал.

Кому доставалась половинка пластинки, кому – четвертушка, кому – и вовсе с воробыиный носок, но челюсти у всех ходили одинаково, и у всех вид был одинаково строгий, сосредоточенный на перемалывании этой резинки во рту.

На ночь жвачку прилепляли к спинке кровати.

Назавтра доводили до клейкости теста.

И лишь на третий день расставались с сожалением, размазывая где-нибудь на видном месте на память...

А Вилька после такого международного матча обычно выкуривал ещё сладкую призовую «камелину», сидя на чурбаке за поленницами, подальше от глаз суровой матушки...

...Тридцатого апреля, день в день, каждый год во двор въезжала полуторка военных лет. От старости у неё трясся капот и доски в бортах кузова.

Фары у машины были вынесены на дугу впереди мотора, сидели кривовато, напоминали очки старушки, в то время как из кабины выглядывала полная сил и веселья фронтовичка тётя Надя с неизменной папиросой в зубах.

Фанерная дверь кабины распахивалась с треском, и тётя Надя вставала посреди двора, сладко потягиваясь, в синей фланелевой кофте, сатиновых шароварах и с букетиком жёлтого ранника (мать-и-мачехи) под ремешком краснозвёздого берета, – краса и гордость водителей города.

В окружении восторженных детей, орущих «Тётя Надя, прокатите!», она открывала борт и вываливала на землю клубки канатов для карусели. Как подъём флага на корабле, так и навешивание канатов перед Первым мая на столбе было зрелищем волнующим.

Начиналось с того, что сапожки тёти Нади вставлялись в стальные стремяна верхолазных «когтей» и затягивались ремнями.



На поясе у неё крепилась цепь, как у пожарных.

Сделавшись косолапой, тётя Надя шла к столбу по-медвежьи, пугала малышню раскинутыми руками и страшным рыком.

Она восходила к вершине одним махом.

Став малюсенькой, словно с небес, сбрасывала обыкновенную верёвку.

Самый проворный из детей хватал конец, привязывал тяжёлый канат на подъём...

И с верхотуры она соскальзывала непременно по канату...

Катание ребятни на грузовичке эта озорунья всегда испол-

няла с крайней осторожностью, на малой скорости, по тихим переулкам.

Сама поштучно подсаживала детей в кузов, а после рейса снимала и ставила на землю, тоже по одному, замедленно, как будто желая на год вперёд набраться тепла и любви от лёгоньких тел.

Потом ещё долго сидела на подножке своего грузовичка и показывала детям фокусы из ниток – одним движением распутывала паутину между пальцами, или без иголки прошивала ниткой кожу на ладони, или сжигала над спичкой, а потом нитка оказывалась целой и невредимой...

## 4

Вихлястый газик тёти Нади частенько въезжал под карусельный столб ещё и с полным кузовом поленьев. Разгрузка затягивалась. В ребячьих полётах наступал томительный перерыв. И грузовичок тогда вызывал досаду.

Случалось быть ему и катафалком в сопровождении маленького медного оркестрика – опять же, к вящему неудовольствию жизнелюбивой детворы.

По той же причине ненавидели ребяташки и ассенизационную цистерну, и даже пожарную машину.

Однажды утром возле столба оказалась привязанная лошадь. Мужик ехал с базара и ночевал у родственника. Тогда, наоборот, были проявлены малышнёй самые лучшие сторо-

ны души – завзятые летуны с радостью отложили катание на «Гигантах», наперебой кормили гривастую мезенку хлебом и сахаром (а «яблоки», выпавшие из лошадки, щепкой собрала потом в газету домработница мадам Леонихи – таким было прозвище у жены поэта Леонида Гинзбурга).

Эта Софья Наумовна умудрялась постоянно присутствовать в сознании жильцов благодаря своему упорному отсутствию среди них во дворе. Как и безногий инвалид дядя Вася, она тоже днями сидела у окна, только не со стаканом чая, а с книгой.



Поясной портрет впечатывался в память из-за постоянной демонстрации: бордовый халат на пухлых плечах, нагромождение чёрных волос, высоко поднятая голова и низко опущенные глаза...

Неподвижность её была какая-то растительная, под стать множеству карликовых роз у неё на подоконнике. Будто в настоящем ботаническом саду на бумажках можно было прочитать названия сортов: Peach Meillandina, Pink Symphonie, Rosmarin 18, Sonnenkind... Последнее переводилось как «солнечный ребёнок» и как будто относилось в некотором роде и к Софье Наумовне.

Кажется, у неё только и дела было в жизни, что ухаживание за своим розарием, в том числе и полив компостом, приготовленным домработницей из лошадиных «яблоч».

Она так была отчуждена от жизни города, улицы, соседей, настолько эти люди и эта их жизнь были далеки от неё, что она могла появиться в окне в одном лифчике, виден был и её большой живот... Мужчинам приходилось отворачиваться, а женщины пытались повлиять на неё, укоряли за несоблюдение элементарных приличий, бросавших тень на всех их... Напрасно.

Высокомерие переполняло Софью Наумовну.

Говорили, она была дочерью знаменитого когда-то в городе фотографа Адама Смушкиса. Старухи помнили, что во время английской оккупации в витрине его студии на Троиц-

ком тоже стояли горшки с такими же крохотными розами...



В поэте Гинзбурге принадлежность к избранным обозначалась изящной полоской усов и золотой заколкой на галстуке (шляпа, начищенные башмаки, портфель не являлись для интеллигентных мужчин этого дома чем-то необычным). А вот приподнимание шляпы при встрече было свойственно только ему. С виду он был строг, но очень приветлив с детьми, может быть, за неимением своих.



В стенах своего жилища супруги были неосмотрительны одинаково.

Из открытого окна их квартиры с цветами на авансцене, из мрака рампы могло разноситься по двору, к примеру, такое:

– Ты же поэт, Лео!

– Но я не лирик, Софа! Я – трибун!

– Почему бы тебе не написать пару гениальных строк и о любви?

– Софочка, но ты же прекрасно знаешь, что за любовь платят сущие копейки!

– Значит, вот это написано совершенно бескорыстно?

– Что ты имеешь в виду?

– Я имею в виду листок с женским почерком, что нашла в твоём кармане.

– И что же ты этим собираешься мне сказать?

– Я собираюсь читать, Лео. Плакать и читать.

Софья Наумовна начала декламировать:

Не покидай меня ночами,

не оставляй меня во сне.

Пусть это долго длится с нами, —

когда ты мой! Когда – во мне!..

Она перевела дух, высморкалась и продолжила допрос:

– Лео, кто эта «Ю», что подписала это ужасное стихотворение?

– Ты не можешь допустить, что молодая поэтесса передала

эти стихи мне для рецензии?

– А с каких это пор эротические вирши стали рецензировать поэты гражданственной направленности?

– Софа, но разве не достаточно для этого обладать просто высоким общекультурным уровнем?

– Ты лжец, Лео!

– Позволь, Софочка! Тогда ты должна привести тому веские доказательства. Иначе я уже перестаю понимать, на каком я свете!..

И настал день, когда многострадальный фронтовой газик с тётей Надей на подножке задним ходом подъехал к окну поэтовой квартиры.

Цветы из окна подавала домработница, а Леонид Гинзбург в сдвинутой на затылок шляпе ставил горшки в кузов.

Казалось, и сидящую на своём обычном месте Софью Наумовну домработница должна была взять на руки и передать супругу, но скоро он, одновременно обнимая и подталкивая, обыкновенным порядком – через дверь – вывел её, окутанную платками, шарфами и палантинами, как в опере выводят на казнь гордую героиню (может быть, даже в библейской традиции сказав ей напоследок: «Ты мне больше не жена»).

Газик скрипел и качался, пока Софья Наумовна устраивалась в кабине.

Что-то похоронное просматривалось в тихом ходе грузовичка по двору – скорее всего, это изгнанница попросила ехать помедленнее...

Дым от изношенного мотора-ветерана быстро улетучился, вентилируясь каруселью, но дух печали ещё долго витал во дворе. Слышался он и в ударах-вздохах колуна где-то в лабиринтах сараев, в скрипе-стоне подшипника на столбе, в щелчках пластмассового шарика пинг-понга. Щелчки были двух тонов: глухой, вязкий – от ракетки, и сочный, пулевой – от стола. Один спрашивал, другой отвечал. Один говорил «да», другой – «нет». Любит – не любит, плюнет – поцелует, к сердцу прижмёт – к чёрту пошлёт...

Неуловимо для слуха в эти философско-лирические ритмы стали вплетаться грозные идейные удары костыля и протеза по деревянной мостовой. Костыль бил по доске грозно и требовательно, а берёзовый протез вторил неуверенно и не в такт, зависая и как бы прицеливаясь. И в эти паузы (*retinuto*) носителем этих «ударных инструментов» выкрикивались боевые лозунги непобедимой армии и здравицы оклеветанному вождю...



Это Брынзин возвращался из артели инвалидов. Словно оружием, он размахивал деревянными вешалками для одежды – оплатой за труд.

Все знали, что карманы его засаленных штанов, словно патронами, были набиты ещё и бельевыми прищепками.

Недавняя война вторглась во двор в лице пьяного, небритого Брынзина запахом перегара, перестуками костыля и протеза, гибельными кличами.

«Аэродром» у столба пустел, канаты обвисали безжизнен-

но.

Дети кривлялись перед агрессором, корчили рожи, показывали язык...

Он сражался с ними героически. Набывчившись, шёл в атаку на карусельный столб. На его лице, налитом кровью, кривился оскал мертвеца, губы были будто присыпаны каким-то белым порошком, глаза стекленели...

Маленькая, сухая, безымянная жена Брынзина, стыдливо кутаясь в чёрный платок, сгорбившись, выбегала из подъезда и совершенно бесстрашно, а как будто бы даже и нежно брала его за руку и уводила домой.

В их недолгом шествии по притихшему двору, казалось, даже видно было, как злоба изливалась из Брынзина в землю синими дрожащими жилками через худенькую, костлявую жену, словно по проволоке громоотвода.

## 7

Некоторое время ещё деревяшки бойца стучали по ступенькам в подъезде, и потом опять во дворе наступал мир.

Слышалось, как с чердака, из голубятни Вильки Аксакова, порхнули голуби. Сначала тройка шустрых чёрных «грачей», за ними – космачи в пуховых «башмаках», и напоследок – пара «якобинцев» с пышными воротниками и крыльями, свистящими в махе.

Разбойничий свист Вильки гнал их ввысь. И у самого го-

лубятника словно бы начинался разбег для взлёта – железо крыши под его ногами хрупало и гудело...



А чуть ниже, в метре от бесстрашного Вильки, на балконе третьего этажа мальчик закручивал резиновый жгут в модели самолёта. Всю зиму он на подоконнике у себя в комнате выстругивал тонкие, как спагетти, стрингеры. Перочинным ножиком с перламутровой рукояткой вырезал из шпона нервюры-капли, а браслеты шпангоутов выпиливал из фанеры лобзиком. Эта тончайшая работа, под стать художествам костореза, доводила его до одури, порой он засыпал на груде стружек, забывал про еду..

Косточки скелета затем вплотную подгонялись одна к другой, скреплялись янтарным клеем – пьянящим эмалитом (с появлением целлофановых пакетов этот клей станет самой доступной «мазой» для малолетних бродяжек-нюхачей).

Тончайшей кожицей папиросной бумаги мальчик обтягивал каркас, выстругивал воздушный винт, после чего наступал вожаденный миг, когда «дитя», рождённое в сладких тяготах, выпархивало из рук творца на простор двора.

Фырчал пропеллер, мощь скрученной резины выносила птицу в зенит на страх голубям, на едином вздохе достигалась самолётиком предельно возможная для него в этом мире свобода, после чего, согласно легендарной закономерности, он мчал к земле и разбивался.

Детвора, только что с восхищением взиравшая на стрекошечье чудо, теперь вопила в жертвенном восторге.

А мальчик, рассматривая останки, прикидывал, какие из реек пригодятся для новой модели.

Он, осенённый идеей выси, обуреваемый полётами во сне и на яву познавший их благодаря самодельному «существу», затем в течение своей долгой жизни перебрал все возможные «речки-идеи» во всяческих комбинациях и в конце концов выразил себя в трёх словах: «Бог есть свобода».

Свобода камня, пущенного «блинчиками» по воде.

Свобода стрелы, сорвавшейся с тетивы.

Впервые познанная собственная, личная свобода в полёте на канатах дворовой карусели...

Из окна квартиры Рокотовых было слышно, как Жанка играла на флейте.

Посвистывание её трубочки дополнялось словно бы клавишином – аккомпаниатор, папа Жанки, подкладывал лист газеты под молоточки пианино, звук состаривался и вызывал в памяти времена Баха, когда и писалась исполняемая ими эта соната ре минор.

Папа был известным актёром в городском театре драмы, воплощал даже образ вождя: одна рука – в пройме жилетки, другая – вскинута, будто в попытке тормознуть машину на обочине... Пожилые «леди» двора Жанку обожали.

Пронзительными трелями флейты она могла до слёз довести их, чувствительных выпускниц женской Мариинской гимназии.





А после дуэта с папой будто весь воздух, вдутый Жанкой во флейту, выстреливал ею, как из пневматического ружья, — она пулей вылетала из подъезда, не раздумывая, хватала доску и наперегонки с парнями толкала канат с маленьким сидком в петле «Гигантских шагов»...

Или вот только что она вытанцовывала на школьной сцене трепетную «маленькую лебедь», а тут уже с размаху лупит портфелем по обидчику..

По пути в музыкальную школу откладывает в сторону

нотную папку на верёвочках, устраивает сверху футлярчик с флейтой и суковатой палкой принимается «гонять попа» вместе с мальчишками...

Её ребячество оборвалось неожиданно, она будто с карусельного каната сорвалась, сошла с орбиты дворовой жизни. мутные два-три года созревания, этот тайный период в жизни любой девочки, прошли у неё в командировке с отцом.

Из туманов и облаков своей весны она явилась в полном цвету.

В первый же день её возвращения можно было увидеть, как она сбежала со ступенек подъезда бойкой девицей Жанной Рокотовой – Роковой (фасон платья – «песочные часы», ножки-«фужерчики» вставлены в «рюмочки» туфлей на высоком каблуке. На затылке – начёс, на лбу – чёлка валиком, краснотелая улыбка во весь рот)...

Под стать кружению канатов на дворовой карусели вращалась в её руке лаковая сумочка на длинном ремешке.

Она крутила её, словно пращу перед броском, – кто-то будет сегодня убит ею наповал?

И запах фиалки разносился от этой Жанкиной карусели по всему двору, перебивая табачный дым, чад кухонь, смоляные миазмы сосновых чурок.

Мать из окна кричит ей навзрыд:

– Опять в ресторан?!

Она посылает ей воздушный поцелуй и скрывается за углом.

Вслед за ней, как в воронку циклона, – и годы, и люди, и этот дом с каруселью...

# Безработица в Париже<sup>4</sup>



## 1

Дощатый вагон, похожий на шкатулку, выворачивал на проспект, словно из тумана появлялся, обвитый метелью,

---

<sup>4</sup> В рассказе описано действительное происшествие. Имена оставлены подлинными. – *Примечаете автора.*

звения и покачиваясь. Снежинки в свете фары кружились, как полчища мотыльков. От мороза, казалось, даже рельсы стыли, стонали, будто от боли, а шпал и вовсе было не видеть — две лыжни под трамвайными колёсами, да и только.

Внутри грело лишь под кондукторшей. Шуба её, словно крылья наседки, накрывала горячее креслице, а ленточка билетиков на груди напоминала бледный росток из теплицы.

Перед остановкой вагон замедлял ход, кондукторшу во сне клонило набок, она просыпалась, начинала дуть на стекло, скоблить монеткой и потом хриплым голосом возвещала о пункте прибытия.

— Стадион!

«Гармошка» двери в этих древних трамваях находилась во власти пассажиров, как и тамбур, куда набилась ребятня, обвешанная коньками после «массового катания».

Кондукторша встала над ними во всей своей безграничной власти.

Перед ней сияли раскалённые на ветру мордочки мелкоты, подростковые лица мальчиков и девочек, послушно опускающих трёхкопеечные монеты в корытце её ладони.

Кондукторша отрывала билетики, а краем глаза уже держала на прицеле «наглуую харю» «зайца», которого даже знала по имени.

Она заслонила его всем своим мощным корпусом и потребовала денег.

Для начала этот прожжённый безбилетник начал изобра-

жать поиски монеты по всем карманам и запазухам и был вполне любезен. Кондукторшу называл «тётя Нюра», и она, по доброте сердца, опять, кажется, поверила ему, в то время как он тянул время до следующей остановки, чтобы улизнуть. Кондукторша уже поторапливала его. Предел доверия заканчивался. Начиналась перепалка. В ход пошли оскорбления: «Ну что, Генка, завертелся опять, как вошь на грёбешке?», «Денег нет – на лайбе ехай!», «Какая я тебе тётя, я – леди!»

Трамвай остановился. Парень весь подобрался и ринулся к выходу, но кондукторша была наготове. Она намертво зажала «зайца» в углу, сорвала с его головы шапку, ловко швырнула в дверной проём. Шапка исчезла в снежных вихрях, а трамвай, рванувшись, опять стал разгоняться.

Шапка была суконная, разношенная донельзя, с отвислым козырьком и без завязок на «ушах», – дрянь, а не шапка, вещь совершенно нестоящая, даже по меркам этого, нищего, пятьдесят четвёртого года, но единственная у парня, за утерю которой ему уже собственные, а не пришивные уши надерут.

Избавленный наконец от натиска врагини, освобождённый ею, уже севшей на свой тёплый трон, Генка Романов, по кличке Рогатый, (в драках умело орудовал головой) на ходу выскочил из трамвая, чтобы никто не успел подобрать шапку и «зажилить», как непременно поступил бы он сам, обнаружив подобную потерю на дороге.

Парень поскользнулся, упал, буквально треснулся затылком о наледь, «снегурки» клацнули возле виска, и он, потеряв сознание, не видел, как совсем рядом прокатилось вагонное колесо, и трамвай погрузился в снежные буруны.

Открыв глаза, парень некоторое время лежал и глядел, как фонарь над ним бьётся о столб жестяным колпаком. Придя в себя, вскочил на ноги, поднял уже заносимый снегом трюх и напялил на голову.

Ветер дул в лицо. Шатаясь, он шагал вдоль забора почти вслепую, прикрывая варежкой лицо.

Впереди темнел какой-то бугор. Им оказался кособоко сидящий человек. Блеснули погоны на плечах, подковки на каблуках сапог...

Парень огляделся.

Безлюдный проспект был наглухо забит метелью.

Он склонился над офицером, тронул за плечо:

– Дяденька!

Послышалось глухое мычание.

В морозном воздухе Генка почуял примесь спирта.

Застёжка подалась легко.

Он вытащил добычу из кобуры и нырнул в ближайший двор, словно налётчик.

## 2

Зэка № 312 душила эмфизема на полгруди; он дышал

шумно, с протяжным свистом, как если бы дышал одной ноздрёй. Кашлял и хрустел пальцами, выворачивая их, а на лице его словно бы застыло какое-то давнее изумление — то ли этим своим сиплым дыханием, то ли окружением сидящих перед ним врачей и тюремщиков, то ли ещё чем-то непонятным, и непонятым с самого детства.

Даже во сне не опадали его вскинутые брови. Казалось, и во время длительной лёжки на койке в «больничке» ночью он лишь прикрывал глаза, а слышал всё.

Также мучительно размышлял он о чём-то неизъяснимом, стоя за спиной картёжников в камере или обтачивая напильником болванку в лагерной мастерской.

И уши у этого зэка всегда были прижаты, и глаза навыкате, и валики морщин со лба убегали дальше по темени в конючую «стерню» арестантской стрижки.

— ...Романов Николай Иванович... освободить досрочно по состоянию здоровья...

Слова «кума» только ещё больше изумили его, так что в течение двух-трёх дней до того, как за ним затворились ворота тюрьмы, между приступами кашля, он вовсе глаз не сомкнул.

За время отсидки он не заслужил ни ненависти, ни уважения, ни у начальства, ни у братвы. Несколько голосов с наротозовались на его уход из камеры насмешливыми репликами. Каптёр молча выкинул ему на барьер ссохшиеся американские ботинки из свиной кожи, ветхий бушлат (арестовали



его летом в рубахе и парусиновых штиблетах). В этом бушлате с завязками вместо пуговиц он и сел на берегу в трамвай ледовой переправы.

Между двумя рядами наскоро замороженных деревянных столбов вагон кидало из стороны в сторону Шпалы, как полозья санок, проскальзывали: город словно пытался вытащить на лесе трамвайного пути строптивую, брыкающуюся добычу...

Ловец – мальчишка с большими деревянными санями-чунками – был доволен уловом. Из вагона вывалились фанерные чемоданы и тюки семейства ссыльного татарина, наконец отпущенного на родину.

Сани рикши были нагружены доверху, и, когда из вагоны вышел прощёный урка, парнишка с поклажей уже удалялся в сторону железнодорожного вокзала.

По дощатым сходням туберкулёзник поднялся на набережную, дыша, как паровоз. Постоял, набираясь сил, зажал ворот бушлата и, так и не признав в саночнике младшего брата (четыре года не видел), побрёл в сторону трущоб «Шанхая».

### 3

В конце смены день медленно изживался в сизом морозном небе над заводом. Ночь наступила в миг включения прожектора на крыше лесопильного цеха. Засверкал отполиро-

ванный брёвнами стальной жёлоб, возле которого она багром стаскивала кругляки на транспортёр, провожая их в последний путь – под ножи пилорамы, на четвертование, – сегодня пилили брус. Она делала это (вымётывала древко, ужаливала, подрывала конец бревна) непрерывно с утра – в длинном брезентовом малахае, перекрещенном на груди концами вигоневского платка с узлом на спине, затянутым с помощью напарницы.

С утра они с ней ещё переговаривались – о карточках на продукты, о ценах на дрова-швырок, о замёрзшем водопроводе в городе, но уже в будке учёткицы за обедом (со своим хлебом и казённым кипятком) голоса их звучали тускло, а к концу смены и вовсе утихли, – были исчерпаны даже и энзэ материнской любви, – тяжёлой работой и морозом выдавлены были из них мысли о детях, как воздух из глины под жимками беспощадного ваятеля...

Вахтёр потребовал поднять крышку у бидончика и вполне серьёзно заглянул на дно: не выносится ли народное добро? Вода была не в счёт. «Проходи». Воду она зачерпнула из реки, с брёвен в запани, вырубленных изо льда (пока ждёшь водовозки, бидончик уже вскипит на керосинке). Бирку со своей фамилией – Романова Анна Степановна – навесила на щит у вертушки...

В трамвае, зажатая рабочими, как бревно в сплотке, она удивлялась силе кондукторши, буравящей человеческую массу, помогавшей себе не только локтями, но и коленя-

ми. Кондукторше специально препятствовали, коллективное пролетарское сознание преобразовывалось в этой давке в стадное, в результате чего многим удавалось доехать до своей остановки бесплатно.

Веселье у изнурённых было отчаянное, ругань – безбожная.

Кондукторша пыталась унять злословие: «Прежде чем материться, подумал бы!» «Уже три раза подумал. Очень устал...» «Если у нас мат кончится, у тебя, Нюрка, трамвай встанет...»

## 4

Однажды ночью этот дом на деревянных сваях постройки 1860 года поплыл – повело его на сторону, и он пал на днище. Удар был неожиданно сильным. Жильцы, ещё помнящие бомбёжки, повскакивали. Причина выявилась мирная – подгнили опоры.

Печи от удара потрескались, но не обрушились, а только стали сильнее дымить. Кирпичные трубы на крыше, однако, осыпались и были заменены на жестяные. С тех пор дом так и стоял, кособокий и многотрубный, словно корабль, выброшенный на мель...

Она шла по длинному коридору среди рухляди у стен и заломленными назад руками пыталась развязать узел платка на спине.

Из дверей её комнаты донёсся надсадный, рокочущий кашель. Она остановилась, потом быстро, почти бегом, достигла конца коридора и распахнула дверь:

– Коля!..

Сын сидел на корточках у печки и ворочал кочергой в топке.

Свет животворного огня состаривал его лицо до неузнаваемости. Он глядел на мать изумлённо, словно на чужую.

– Мама! Его досрочно!.. – радостно выпалил младший. Он резал батон, купленный на заработок саночника.

Словно бы оттаяв, полилась у неё с языка бесконечная, взволнованная и бестолковая речь-причет.

Брезентовый малахай она грохнула в угол на сундук и, как была в ватных штанах и валенках, с мешочком ячневой крупы и с бидончиком убежала на кухню варить кашу.

Генка бросил нож и из-за сундука вытащил тряпичный свёрток.

– Гляди, Коля! Настоящий тэтэ.

Николай испуганно отвёл руку брата с пистолетом, словно это была спящая гадюка.

– Где взял?

– У пьяного.

– Пьяного шмонать и шнырю западло.

– Не я, так другой бы... На толкучке, Коля, продать, сколько дадут, как думаешь?

– Проси сразу «десятку» строгача..

- Ты чего, Коля? – не понял Генка. – «Штуку», не меньше, можно «оторвать».
- Повяжут тебя на раз.
- Ну, у тебя же есть друганы. Через них скинем.
- Мать знает?
- Я что, дурак?
- Спрячь и забудь.

## 5

Сердце её сжималось от боли и ужаса за сына, полуживого, не от мира сего, в могилу краше кладут, а слёзы источались радостные. Руки сами собой создавали праздник. Чистой скатертью из приданого она накрыла стол. Единственный стул придвинула – для блудного, а две литые табуретки работы кустика – для себя и младшего. Кастрюлю с кашей водрузила в центр. Тарелки выставила, опять же, для пришельца – самую большую, и разложила искорёженные алюминиевые ложки...

Масла в кашу болезному Николаю она вылила полпузырька, а он лишь поклевал и отодвинул тарелку.

– Я, мама, в тубдиспансер на учёт встану. Талоны на молоко дадут.

– Кашка-то на молочке!.. Ох и заживём, ребятки! – бодрилась она.

Младший уже вылизывал свою тарелку, жадно косясь на

нетронутую порцию брата, но прав на неё не заявлял.

Голая лампочка на шнуре освещала пролетарское пиршество.

Чёрный зев бумажного репродуктора извергал благостные вести:

«Забота о человеке – закон нашего общества».

«Вручение орденов передовым работникам».

«Заводской посёлок молодеет».

«Новая опера о колхозной деревне».

«Образ народа-победителя».

«Безработица в Париже».

«Новое яркое проявление заботы о благе народа».

«Рабочее «спасибо».

«Смертельная хватка власти капитала».

«Патриотический подъём»...

## 6

Их дед, Романов Савва Михайлович, в пасть прожорливой власти швырнул новенький пятистенник, с пожеланиями подавиться оставил скотину, повозки, скарб, но инструменты задворками уволок ночью на тележке – все эти буравы, долотья, киянки, фальцгебели и зензубели... Там были и деньги, тугой трубочкой засунутые в выемку фуганка.

В городе дед с семьёй осел в бараке, для виду поступил в артель, а кормился столярным промыслом – резной красной

мебелью собственного великолепного исполнения.

Благоденствовали меньше года. По доносу соседа фининспектор «закатал» его в тюрьму, где он и сгинул.

Могуч был, костист, с корявыми руками и усами, скрученными в иголку, хотя от него остались лишь две табуретки, но по тому, как они были скроены, сбиты-сшиты, можно было представить Савву во всей его старопрежней богатырской сути.

А сын, презрев отцову неукротимость, записался в комсомол, пошёл к власти на полное услужение и был убит под Киевом немцами.

Осталась Анна с двумя парнями. Младший, сосунок, ещё выживал на скудных материнских соках, а Колька тощал неимоверно. Он не пожелал следом за бабкой, умершей от голодного белкового отёка (плясунья была и певунья), а стал вором, и удачливым. Пока мать не взяли на лесозавод, подкармливал и себя, и сирое семейство: взламывал ящики в порту, шерстил товарняки, а на квартирной краже попался. Через год вышел лихим разбойником и скоро плотно сел за драку с кастетом. Покрепче всякого кастета оказался нанесённый по нему удар туберкулёзной бациллы. Даже для тюрьмы стал не годен. Целыми днями лежал теперь дома на сундуке у печки, кашлял, сплёвывал и слушал радио:

«Будем работать ещё лучше».

«Растёт производительность труда».

«Друзья» – главы из поэмы».

«Баллада о счастье».

«Трудолюбивая молодёжь».

«Стране нужны здоровые дети».

«Голодные рабочие во Франции».

Вместе с палочками Коха грызли его и эти слова, он впитывал их, как отраву, сулему или крысиный яд, в стремлении поскорее извести своё никому не нужное тело. Теперь всё чаще он впадал в беспамятство и бредил. Вырывался из его ссохшейся груди даже не стон, а вой...

Брат приносил молоко. Просил пить. Колька матерился:

– Брось, Генка! Ну его на хер, это ихнее молоко... Ещё заразу там подцепишь..

– У тебя не подцепил и у них не подцеплю».

– У них вся зараза, Генка, у них!

Мать твердила, как заклинание «Всё будет хорошо!» Какие-то порошки сыпала ему в беззубую пасть...

У него хватило отваги не врать себе.

«Подохну... Загнусь... Скопычусь... Пропаду ни за грош...»

...Первого мая он встал с гимном. Мать спала после ночной смены. Он растолкал младшего.

– «Плётку» давай.

– Не борзей, Коля. Он мой.

– Давай, говорю. К братве на сходняк иду. «Загоним» на праздники.

Схорон у Генки был в коридоре за санками.



Он передал тряпичный свёрток брату с наказом:

– Меньше тыщи не соглашайся.

– А две не хочешь?

Развернул пистолет, снял с предохранителя и сунул в брюки.

Надел пальто с прорезью в правом кармане и ушёл.

## 7

Трамваи в этот день были бесплатные. С красными флажками на крыше, с транспарантами по бортам пробегали по улице, звеня сильнее и чаще, чем обычно. Увеличилось количество мужских шляп. Выходных кепок-«лондонок». То и дело мелькали дамские нарядные шляпки – плюшевые «таблетки» и фетровые «колокольчики». Чисто одетый, шёл народ, несколько удивлённый такой новизной в себе.

Этот худой парень в пальто с поднятым воротником и в надвинутой на глаза кепке, как говорится, путался под ногами. Его толкали, обгоняя. Какие-то остряки пошутили насчёт тяжёлого похмелья, девушки сердито зыркали на неуклюжего, а у него с синих губ только одно и срывалось: «Суки!»

Появление его в колонне лесозавода никого не заинтересовало. Мужчин в кепках, в чёрных пальто было большинство. Правда, несколько настораживала необычная бледность и худоба демонстранта: такой и швырок с лесотаски не

поднимет, не то чтобы брус. А куда уж флаг ему нести? И чего тут отирается? Но когда кто-то из женщин признал его как «сына Нюрки», то немного ещё поразглядывали его, как убогого человека, у которого непонятно в чём душа держится, и, сцепившись под руки, потоком ринулись на площадь, где гремел военный оркестр...

Бутафория фанерная, реечно-полотняная громоздилась по периметру городской площади. Всю ночь щиты, портреты вождей приколачивали к деревянным домам, со стороны реки подпирали досками, отчего сооружения становились похожими на огромные парусники, и обтягивали трибуну красной материей. Сейчас там было тесно от синих габардиновых чиновничьих пальто и шерстяных светлых офицерских шинелей. Ветерок доносил оттуда запах дорогого коньяка.

Артист театра драмы произносил в микрофон лозунги «под Левитана» низким заупокойным голосом, как во время войны. Девочка-пионерка прокричала какой-то стих, после чего женщины в строю умилённо зааплодировали.

Колонна змеилась перед трибуной, возбуждаясь славословием в собственный адрес. Мужчины принуждённо улыбались, преодолевая неловкость и не глядя в глаза друг другу, вопили «ура» и покидали площадь, опустошённые, устремляясь к столам с водкой и закусками.

Обливаемая патокой восхвалений, «змея» тянулась бесконечно, как бы пряча свою коварную змеиную натуру в этом хилом парне с засунутой в карман пальто правой рукой. Не в

пример остальным он впитывал смыслы торжественных восклицаний всей душой, патетические словосочетания сотворяли в нём нечто, подобное замедленному взрыву. Он становился одержимым бешеным восторгом, наполнялся яростной силой и счастьем близкого конца.

Вот из строя вышел директор лесозавода и по заведённому порядку поднялся на трибуну к избранным. Змеиным жалом выскочил следом за ним вдохновенный доходяга Колька Романов, вдруг ставший выше ростом, решительный и просветлённый, тоже будто по праву, по тайной договорённости-регламенту, побежал к трибуне.

С «язычка» этой «змеи» плюнуло огоньком – в такт полковому барабану, почти неслышно. Стрелок впервые в жизни целился и нажимал на курок пистолета, но оказался удивительно точен, хотя стоял неумело, вовсе не в позиции, и после каждого выстрела покачивался и отступал на полшага.

В грохоте и треске оркестра его выстрелы звучали глухо. Обрушения на трибуне в рядах ботов-истуканов с удивлением замечали только стоящие с ними рядом. Колька стрелял, как в тире, по порядку, пока кто-то не выбежал из колонны сзади и не обрушил его лицом в камни брусчатки. Хрястнули кости носа, вломило их в глубь черепа, и он пришёл в сознание уже за трибуной от запаха нашатыря и мстительных ударов сапог по хрупким бокам. Били до тех пор, пока у него не хлынула кровь горлом...

Расстреляли его белой ночью на Мхах, над свежей моги-

лой, полной ржавой болотной воды. От удара пули в бритый затылок он повалился в воду, обрызгав шинель палача.

Солдаты быстро завалили его торфом и уехали.

Теперь на этом месте построен железнодорожный вокзал.

*P.S.*

В музее ФСБ хранится этот пистолет. Лежит со спилённым бойком, в консервационной смазке, на левом боку. Для особо почётных гостей, для «своих», отставной полковник переворачивает пистолет на другую сторону, где на рукоятке выцарапано – «За свободу – рускому народу». Так и написано: с одной «с».

У стрелка было только четыре класса образования.

Простительно...

# Дуня и Валентайн

Ненависть внедрённая и ненависть врождённая, природная, — к богатым, успешным, чистым и сытым, ненависть зубодробительная проснулась в капитане Узловом совсем неожиданно для него в этот вечер в отдельном кабинете портовой столовой на Левом берегу, где они с инженером Айком Этвудом отмечали успешную разгрузку первого «Либерти», хотя в длительном и глубочайшем политическом недоумении капитан Узловой находился уже три месяца, с самого начала войны.

Всю свою жизнь капитан и штыком, и снарядом готовился сделать из коварного британца кровавый фарш, гусеницами своей танковой роты — перепахать «дряхлый Альбион», установить власть Советов в «метрополии злата», предать всяческим унижениям «гадливую англичанку», а тут вдруг, получив назначение в этот северный приморский город приёмщиком военной техники из Ливерпуля по ленд-лизу, оказался за одним столом с этим «Чемберленом» нос к носу, рюмка к рюмке.



Угол для командного состава был наскоро отгорожен в столовой занозистыми досками, и сначала до слуха грузчиков трудфронта, ещё даже и нестриженных мужиков в лаптях и зипунах, подпоясанных верёвками, доносились только звон питейного стекла и невнятное, но добродушное бурчание пирующих, потом по спинам мужиков просквозило холодком при имени вождя, выкрикнутого капитаном Узловым в ходе произнесения тоста. Наконец движение полчищ ложек (и деревянных тоже) замедлилось и почти остановилось, когда в ответ закричал чужестранец: «Раша, раша, раша...» – и умолк, пресечённый ударом по столу кулака капи-

тана. Может, на том и закончилось бы их взаимное недопонимание, рассосалось бы под действием очередной порции веселящего напитка, но тут весьма некстати в возникшей тишине раздался весёлый стук каблучков официантки Дуни с короткой рабфаковской стрижкой и с белой заколкой на темечке, хотя она как раз могла бы предстать перед двумя военспецами именно как миротворец – с блюдами на подносе, – остановить нарастающее брожение их взаимного недовольства, – но случилось обратное.

– Запоём мы песню нову про Дуняшу черноброву! – воскликнул капитан.

Даже ещё и теперь возможен был мирный исход противостояния двух систем, не замурлыкай, в свою очередь, и заморский гость.

Недолго ему пришлось изъясняться в чувствах к девушке. Снова дощатое помещение сотряс удар комсоставского кулака, и затем вслед за убегавшей официанткой, пятясь вприпрыжку, предстал перед мужиками джентльмен Айк Этвуд в боксёрской стойке, а за ним, поигрывая налитыми плечами, – капитан Узловой.

– Ноу, ноу, ноу, Валентайн! – вырывалось из груди англичанина. – Нот сука! Ай сэй лука (приятная. – А.Л.). Дьевка гуд!

– Ну уж нет! За «суку» я те сейчас – за те же денежки, да ещё разок!

– Дьевка гуд! Сталин гуд! Раша гуд!

– Рожу-то я те щас отрихтую.

– You did not understand me!<sup>5</sup> – выкрикивал Айк Этвуд, одной рукой ловко тыкая в лицо капитана, а предплечьем другой успешно пресекая размашистые удары его кулака.

Они топтались в проходе между оробевшими крестьянами до тех пор, пока сдатчик танков не выскочил вон. Капитан ломанулся за ним, но то ли двери столовой оказались для него узковатыми, то ли плечи слишком широкими, но он замешкался, упустил противника из поля зрения, встал в темноте совершенно потерянный и страшно униженный.

Тьма была разлита вокруг осенняя, светомаскировочная, неразличимы были ни лаковые «шпалы» на воротнике капитана, ни золотые галуны на рукавах, и тем более, конечно, невозможно было, как что-то отдельное, рассмотреть в ночи чёрный костюм-тройку англичанина, хотя бы и в трёх шагах.

– Эй, ты где? – как бы у самого себя спрашивал капитан.

Тьма перед капитаном громоздилась пластами, дыбилась терриконами угольной фактории, расстригалась ножницами кранов, и только на другом берегу реки искорками электросварки «строчил» по проводам полночный трамвай...

Вот обозначилась в ночи полоска белых зубов капитана. Раздался скрежет коренных, и снова – сплошной мрак и тишина...

Трудармейка Дуня Птицына, девица с Бакарицы – холщёвой рукавицы (Кузнечиха-невстаниха, Жаровиха-жмуриха)

---

<sup>5</sup> Ты не понял меня (англ.).



была девушкой портовой, совсем не робкого деревенского десятка, но и не разухабистой. Блюла себя для «сурьёзно-го человека». Повесткой военкомата она была «сдёрнута» со штабелей лесобиржи в мойщицы посуды. Очень скоро за летучесть походки, обрётённую в беге по обледеневшим брёвнам, повысили её до официантки. Бойкость рабочей повадки как-то соединялась в ней с нервностью вовсе уже городского свойства. Она любила романсы и на нарах женского барака пела под гитару довольно низким, подражательно-мужским голосом: «Ты говоришь, мой друг, что нам расстаться надо, что выпита до дна любовь моя. Но не ищи во мне ни горечи, ни яду. Не думаешь ли ты, что плакать буду я?..»

В роли роковой дамы была она немного смешна, но женщины принимали её всерьёз. С нар раздавалось:

– Правильно, Дунька. Так их!..

Без особого труда, только лишь в поступь добавив чуть больше твёрдости, а в посадку головы – прямизны, она в окружении сотен мужиков, среди этого мобилизованного братства, умела оставаться в недосягаемости без малейшего ущемления своей женской свободы, носилась с подносом, бойкая и языкая, однако первый раз увидав в столовой капитана Узлового, под его первым же, вовсе даже случайным, взглядом сразу урезонилась, опустила глазки и за перегородкой невольно стала прихорашиваться.

И капитана при виде Дуни тоже сбило с толку, словно, будучи на марше, он выполнил команду «приставить ногу». Он

одёрнул гимнастёрку с орденом Красной Звезды, сжался, как перед прыжком в спортивном зале... Так же, с затылка до пят, схватывало его, когда он в танке через перископ засекал пулемётное «гнездо» в песках Халкин-Гола или снайпера-«кукушку» в завале глубоких снегов Финляндии...

Время для «амуров» было у капитана Узлового самое подходящее: тогда ещё даже чертежей не поступило из Англии, первый конвой ещё болтался на рейде Эдинбурга. Сам капитан, поселившийся в домике паровозного машиниста в Затоне, пребывал в полнейшей праздности – в новеньком, вплоть до мельчайшего ремешка портупеи, обмундировании.

К любви располагало всё – и трёхразовое питание в столовой с подноса Дуни, и кино в клубе, и сухая солнечная осень с россыпью инея по утрам.

Три стадии сближения были уже у них позади: поимённое знакомство, прогулки плечом к плечу, держание за руки. Вот-вот должны были они созреть для «встреч» предельно тесных, но тут вдруг и пришвартовался этот «Либерти», и с его борта сошёл на берег этот «Черчилль» с котелком на голове и с тростью в руке.

Тотчас за праздничным обедом он принялся охмурять Дуню вставаниями и поклонами, блеском зубов в широчайшей улыбке, сверканием маслянистых глаз и, гнида буржуазная, поцелуями её ручки...

– Эй! Ты где?

Капитан обшаривал невидь перед собой, будто слепец, и

пальцы его вдруг коснулись железа, настывшего в конвое на атлантических ветрах, словно айсберг, только цветом чернее ночи, — это был танк марки Valentine лёгкого класса, для поддержки пехоты.

— Ну, щас я тебе!

Капитан ловко, на ощупь, влез в башню и включил фару.

Вращая рукоятку поворота, повёл световым конусом по перепаханной гусеницами разгрузочной площадке, ящикам с запчастями, скопищу таких же «валентайнов» вдали...

Вдруг из-за бочек, судя по лаковым башмакам, выскочил «союзник», метнулся вправо-влево и юркнул в столовую.

— Не уйдёшь, гад!

Капитан впрыснул в поршни эфир (придумают же, сволочи!), мотор завёлся мгновенно. И педаль сцепления выжалась удивительно легко, и передача включилась беззвучно (умеют же делать, поганцы!). Лязгнули гусеницы, и танк двинулся следом за исчезнувшим инженером сдатчиком.

Лицо своё вдавил капитан в резину окуляра. Ему было видно до мелочей и скобу на пороге столовой для очистки грязи с обуви, и проволочный крючок, и буквы в расписании кормёжки.

Капитан ликовал уже не столько от совершающейся мести, сколько от удовлетворяемой страсти прирождённого танкиста: англичане сами<sup>6</sup> и разгружали, и перегоняли машины в отстойник, и капитан, со стороны видя всю техниче-

---

<sup>6</sup> Himself.

скую статью танков, слыша поразительно мягкий рокот моторов, предчувствуя лёгкость хода, давно с трудом сдерживал желание сесть внутрь и поехать (останавливала гордость советского человека). И вот свершилось!..

Под управлением капитана танк как бы внюхивался дулом в запахи столовой, шёл за своей законной порцией решительно и неукротимо. Вдруг в свет его прожектора вскочил человек в круглых очках и в пальто «реглан»<sup>7</sup> из серого жаккарда. Он подпрыгивал и махал над головой обеими руками. Это был переводчик Сеня Кац. Они всегда трапезничали втроём: капитан Узловой, инженер Айк Этвуд и Сеня Кац. Не опоздай переводчик сегодня на ужин, всё закончилось бы вполне мирно – он умел не только смешивать языки, но и притирать сильные характеры. И хотя капитан тоже не любил Сеню, но терпел как толмача, а за знание языка даже уважал.

Теперь он, уже без помощи оптики, прикинув к бойнице, видел, как на крыльцо в помощь Сене выскочил ещё и англичанин (подглядывал в щель тамбура, в одиночку трусил, а с помощью «господина Каца» надеялся повлиять на буйного приёмщика).

Они кричали по очереди, хотя и знали, что человек, сидящий в танке с включённым двигателем, не может их слы-

---

<sup>7</sup> Реглан – вид покроя рукава одежды, при котором рукав выкраивается вместе с плечевой частью переда (полочки) и спинки изделия. Этот вид рукава назван по имени британского фельдмаршала барона Реглана...

шать.

– Marriages are made in heaven, captain!<sup>8</sup> – вопил богобо-  
язненный Айк.

– Под трибунал захотел? В штрафбат? – переводил наход-  
чивый Кац.

– Marry in haste and repent at leisure,<sup>9</sup> – назидал британец.

– Он просит прощения! Выпивка за его счёт, – трактовал  
слова англичанина мудрый Кац.

В последний момент, когда пушка «валентайна» почти  
коснулась стены столовой, оба миротворца кинулись в сто-  
рону, пропали из виду.

Капитан потянул рычаг поворота, намереваясь пуститься  
на поиск, но тут мотор заглох.

Слышно было только бульканье в системе охлаждения.

Фара продолжала светить от аккумулятора.

Башня поворачивалась вручную бесшумно.

Скоро в обзор попали Айк с Кацем – они выглядывали из-  
за ящиков.

– Горючее только в карбюраторе! Всё! Наездился! – крик-  
нул переводчик.

– Give up!<sup>10</sup> – припустил инженер британского юмора.

– Хрен вам! – сообщил о своём решении капитан через  
пулемётную амбразуру и закрыл верхний люк на задвижку...

---

<sup>8</sup> Браки заключаются на небесах, капитан! (англ.)

<sup>9</sup> Женишься на скорую руку, да на долгую муку (англ.).

<sup>10</sup> Сдавайся! (англ.)

Скудным был рассвет следующим утром над мелкоколосьем тундры.

Светло было больше от инея, нежели от полосы бледной зари цвета морошки.

Смена у Дуни закончилась после того, как она расставила на завтрак алюминиевые миски и кастрюли с кашей (одну на десятерых).

Накинув на плечи фуфаечку, она выбежала из столовой, подошла к танку и постучала кулачком по броне:

– Валентин! Валя! Валюша... Я кваску принесла...

Никто не отозвался.

Она приложила к броне ухо.

Тишина.

Она принялась ударять по железу крышкой от бидончика и опять ласково выговаривать имя лебезного и выманивать «на квасок».

Ночевавший в танке капитан слышал, страдал, удерживая себя от отзыва, ибо не желал показываться перед хорошей девушкой в непристойном виде – небритый, не спрыснутый одеколоном «Комиссар», без должного блеска и выправки.

В это время за спиной Дуни послышались шаги по деревянным мосткам, и кто-то пропел озорным голосом:

В Архангельском пог-рту

На левом бег-регу,

Эх, грг-узчики пг-росыпали муку..

Она оглянулась – по дороге со стороны Затона шли Кац и Айк.

Кац вежливо отодвинул Дуню в сторону и негромко произнёс возле пулемётного гнезда:

– Капитан, давай опохмелимся – и на завтрак!

– А что? Есть? – послышался голос из танка.

Кац позвенел о броню поллитровкой с сургучной головкой.

Крышка люка на башне с грохотом откинулась.

Они устроились на скатке брезента. Дуню усадили рядом с капитаном Узловым, а сами сели несколько в отдалении, сообщая этим о полном невмешательстве в их нежности.

Выпили.

Капитана отпустило. Согрелся изнутри весь его закалённый организм, настывший в ночном холоде боевой машины, размягчилась и твёрдость идейная, и судороги ревности на суровом лице распустились в нечто вроде улыбки.

Единственная льдинка теперь перекатывалась в сердце капитана, одна мысль досаждала, одно мучительно-сладкое чувство не отпускало, ибо после недолгой ночной езды в «валентайне» в капитане ожил сложный, неподвластный ему комплекс чувств и ощущений, и тело его, давно бывшее частью танка, ночью получив боевой импульс, теперь томилось в примитивном состоянии. Возможно и сам танк под ним испускал какие-то провокационные токи, как говорится, под-зуживал.

Ни о чём другом не мог думать сейчас капитан, только об этом сложном нагромождении стали, способной двигаться и стрелять. Если ещё и бурлил в нём дух соперничества, то лишь в той части души, где крылась его любовь к боевой технике.

И он затеял спор, чей танк лучше – наша «тридцатьчетвёрка» или этот тёзка капитана.

– Вот спроси у него, Семён, какова скорость полного оборота башни у этого ихнего «вальки»?

(Пока Кац переводил, капитан почтительно прислушался, снова и снова, не подавая виду, изумлялся происходящей в это время работе в мозгах переводчика. «Вот ведь, с нашей колеи в ихнюю не въедешь... Нашу гайку на ихний болт не накрутишь... Нашей пуле будет туго в ихнем дуле... А вот все их слова можно заменить нашими, и наоборот!»)

– А теперь, Семён, вот что спроси: каково у них удельное давление на грунт?

Затем капитан интересовался ещё толщиной лобовой брони, углом вертикального наведения и даже глубиной водной преграды, которую может одолеть «валентяй», как он выражался.

Кац с трудом находил слова, будучи всего лишь преподавателем английской литературы, даже ещё и не мобилизованным, не переодетым в военное.

Он путался, и чем дальше, тем больше вносил бестолковщины в разговор двух задиристых спецов.



Они уже говорили одновременно, горячились и прерывались только для исполнения тостов.

Англичанин готов был уступить, как гость. Но капитан всё тормозил Каца:

– Ну, что он сейчас сказал? Что сказал? Ну?

Чтобы побыстрее покончить с бестолковщиной, переводчик решился на отсебятину и очередную тираду англичанина об устройстве поворотного дифференциала истолковал так:

– Он сказал, что всё зависит от того, кто управляет танком.

Слова эти стали роковыми.

Опять схлестнулись соперники, теперь уже на поприще воинского мастерства. Инженер Айк Этвуд хоть в боях и не участвовал, но служил в фирме Vickers-Armstrong испытателем боевых машин и доказывал, что он лучший.

Свой боевой опыт ставил на кон капитан Узловой.

Понимал их только лукавый толмач, даже и не пытавшийся наладить смысловой контакт между разгорячёнными мужиками.

В пылу спора они перешли на чистые восклицания, понятные без вмешательства Сени Каца.

– А давай!

– Camon! Camon!<sup>11</sup>

– Трепло!

---

<sup>11</sup> Давай, давай (англ.).

– Low!<sup>12</sup>

– Кишка тонка.

– Guts!<sup>13</sup>

Честь у обоих была не то чтобы задета, а прямо-таки травмирована.

Дальше общались они на интернациональном языке жестов.

Англичанин прыгнул с брони и указал на крышку топливного бака. Пока он бегал за канистрой, капитан открутил крышку и стал заливать солярку в горловину.

Англичанин, уже как члену экипажа, скомандовал Сене Кацу: «Follow me»,<sup>14</sup> и они скорым шагом ушли готовить к гонкам свою машину.

Выпив «на посошок», капитан Узловой обнял Дуню.

– Поедем, красотка, кататься?

Она тряхнула кудрями, соглашаясь.

После чего одним рывком девушка была втянута капитаном на броню и оставлена стоять в открытом люке с упавшей на плечи косынкой и безграничным восторгом во взгляде, в то время как сам капитан Узловой глубоко под носовой бронёй заводил мотор.

Через щель он увидел, как из строя новеньких «валентайнов» уже выскочил и остановился, качаясь на рессорах, танк

---

<sup>12</sup> Дешёвка (англ.).

<sup>13</sup> Непереводимое бранное слово.

<sup>14</sup> За мной! (англ.)

Айка Этвуда, над башней которого на командирском месте высился очкастый переводчик.

Они встали в линию.

Услышанное капитаном в наушниках слово «старт» (start) означало одно и то же на всех языках. Он, не медля, отжал сцепление.

Дуня чисто по-женски взвизгнула, когда машина под ней рванула и понеслась по болотистому пустырю.

Рядом с ней ревел и стрелял ошмётками грязи танк Айка Этвуда, и Сеня Кац с командирского места махал ей рукой.

Навстречу им по хлябям тундры брели невольники войны – мужики труд армии с серыми барачными лицами. С приближением танков они стали лениво разбегаться, как стадо тяжёлых неуклюжих существ семейства тюленых.

Парно, ствол в ствол, наперегонки мчались прямо на них два сытых, игривых зверя с волчьей повадкой и по очереди выпускали из клаксонов звуки, подобные сиренам воздушной тревоги, оглушительные, но приятные на слух.

Декорации для фильма «Парень из нашего города» ещё только строились на пыльных улочках Алма-Аты, сцена знаменитого прыжка танка через разрушенный мост у режиссёра Столпера ещё только созревала в голове, а капитан Узловой, в попытке обогнать инженера Этвуда, уже сворачивал с насыпи и мчал по куче брёвен всё выше и выше, срезая путь до железнодорожной эстакады, и на полном газу в конце бревенчатого наката, как с обрыва, перелетел через ручей.

– Говори направо, а гляди налево! – кричал капитан в микрофон.

Ответно раздавался в наушниках голос инженера:

– Chatter can cost life<sup>15</sup>.

Капитан ворчал:

– Хромой козёл всегда позади.

Он опережал Этвуда на два корпуса, и теперь для закрепления успеха ему оставалось вырулить из болотины на гать, занять главную лыжню, как это водится в массовых стартах лыжников, но торф становился всё жиже, сзади танка били из-под гусениц струи вонючей жидкости, вода уже бурлила на броне спереди и лилась через щель капитану на колени...

Когда машина Этвуда задним ходом подъехала к неудачнику, огорчённый капитан Узловой сидел с Дуней на скатке брезента и очищал сапоги от грязи.

Капитан накинулся на англичанина с упрёками, мол, техника не для наших дорог. «Подумаешь, в песках Сахары они их испытывали! Нет, явная конструкторская недоработка...»

Кинули капитану спасательный трос и вытащили на твёрдое.

Дальше ехали один за другим на малой скорости, осторожно...

*P.S.*

---

<sup>15</sup> Болтовня может стоить жизни (англ.).

Пройдёт немало времени, и настанет тот день, когда известный в этом портовом городе скандалист дядя Валя, будучи завсегдатаем рюмочной на углу Серафимовича и Троицкого, подвыпив и вися на костылях, однажды (году в 1967-м) расскажет нам, студентам лесотехнического института, забегающим сюда после лекций за стаканом чёрного вермута, что Второй фронт был открыт лично им спустя всего три месяца после начала войны, и, что самое главное, без участия немцев. И произошло это, как точно помнил дядя Валя, в конце 1941 года вон там, на левом берегу (он указывал рукой), где он устроил потасовку с англичанином после успешного окончания разгрузки первого транспорта типа «Либерти», потом гонялся с ним на танках и всегда приходил первым.

# Ваня Чёрненький



## 1

– Я русский! Русский я! – вопил негритеёнок лет десяти в ушанке и в валенках. Казалось, голова его снегом набита – белели только глаза и зубы.

– Копчёный!..

– Баобамба!..

– Пушкин! Пушкин! – неслоь со всех сторон.

Обидчики с каждым выкриком шлёпались задками на фа-

нерки и уносились с горки от расправы «бешеного гуталина», – негритёнок бросался за ними и мчал по ледяному склону, стоя на ногах. Нагнав, кидался грудью. Начиналась драка.

Если попадался кто-то крепче его и напористее, то он уходил домой, в барак, побитый, но всегда без слёз (синяки были незаметны на нём), а если сам оказывался сверху, то долго кружился в победном танце.

Тогда он один такой обитал не только здесь, под сенью портовых кранов Бакарицы, но и на тысячу километров вокруг не найти было африканца среди детей выходцев из множества других племён – финских, угорских, пермяцких, татарских, славянских, тоже значительно разнящихся один от другого и физиономиями, и даже цветом кожи (от бледно-розового до песчано-глинистого), но за столетия ставших привычными друг для друга в своём русском соединении.

По словам расконвоированного учёного-генетика, ходившего в гости к его матери Нюре, напоминал он здесь, на Русском Севере, диковинную окольцованную птицу, выпущенную на волю для изучения миграции видов человека.

Хотя, если быть точным, то перелетевшей через океан птицей был, скорее, его отец – безвестный моряк в конвое «Дервиш».

Их военно-морской роман развивался стремительно.

Однажды Нюра Барынина в холщёвых рукавицах и брезентовом фартуке таскала доски от пилорамы к штабелю, и вдруг кто-то окликнул её с высокого борта судна. Она поглядела вверх и увидела, как на верёвке спускается к ней картонный пакет. Верёвка была в руках смеющегося матроса.

«Плиз, плаз!» – кричал он. Лицо у матроса блестело, как чернозём после дождя. Он давно приметил эту ловкую стивидоршу, и теперь, дождавшись, когда она приняла пакет и заглянула в него (там было полно продуктов), повёл разговор касательно *make love*<sup>16</sup>, пообещав ещё – *change*<sup>17</sup> (слова, понятные каждому в порту).

Он сверкал налитыми кровью глазами и посылал воздушные поцелуи. Матрос был уморительно мил и сразу понравился Нюре – разведёнке с двумя детьми, вечно голодными мальчишками-воришками...

Принявшей дар с борта океанского транспорта Нюре теперь ничего не оставалось, как в скором времени ждать и самого дарителя. Это случилось в ночную смену. Матрос неожиданно оказался рядом с ней между штабелями досок. Товарки поощряли, подзадоривали, обещали прикрытые от

---

<sup>16</sup> Любовное свидание.

<sup>17</sup> Передача продуктов.



начальства, как уже случалось не единожды и у некоторых из них.

Нюра не сразу решилась. Матрос взахлёб лопотал что-то на своём языке, перемежая речь единственным русским словом «хара-шоу», и в тени дощатой горы, вдалеке от фонаря, со своим чёрным лицом был как невидимка, пока не улыбнулся во всю ширь. А когда он взял Нюру за обе руки, то глаза его наполнились слезами животной тоски...

Перед отплытием предприимчивый уроженец штата Алабама побывал ещё и в гостях у Нюры, в комнате барака с тонкими перегородками, где она не позволила ему остаться на ночь, опасаясь толков, наговоров и доносов. А на следующий день пароход с грузом пиломатериалов ушёл в рейс и был потоплен немцами.

История умалчивает, видел ли кто-нибудь Нюру Барынину, машущую платочком на причале во время отплытия этого парохода-призрака. Зато в архиве роддома портового посёлка и сейчас можно найти запись о появлении на свет 14 июня 1943 года «...мальчика, темнокожего, вес 4300 г, рост 47 см».

### 3

«Нюрка Барынина негра родила!» – разнеслось в тот день по всему Левому берегу.

В посёлке стали гадать, как она со всем этим будет управ-

ляться. Даже самые лёгкие на язык бабы не знали, о чём судить-рядить, в какую сторону гнуть, – событие произошло беспримерное. Сначала ждали, когда сквозь тонкие стены барака пробьётся первый плач, что могло бы стать сигналом, поводом для посещения разродившейся стивидорши, но загадочный младенец, как назло, оказался покладистым, сосал грудь и спал. Потом уже прикладывали ухо к дверям своих комнат в бараке, чтобы перехватить Нюру в коридоре на пути в Рабкооп за продуктами. Залучили наконец её, уставшую, счастливую. Она была скупа на слова. Бабы ещё сильнее распалились – просто дух захватывало от желания хотя бы одним глазком заглянуть в колыбельку.

Незванных гостей Нюра останавливала на пороге, порой применяла и вежливую силу. После чего жаждущие дивного зрелища принялись действовать через посредников – двух старших сыновей Нюры, ласково подкатывали к мальчишкам и допытывались, что за «братик» у них появился. Тоже напрасно. Парни уже прониклись к младенцу родством и стояли на стороне матери – отмалчивались или огрызались.

Вот перед бабушкой, матерью Нюры, жившей в соседней деревне, дверь в комнату к новорождённому сразу бы настежь распахнулась, но прародительница была весьма набожна, блюла старую веру, и появление в роду «неведомой зверушки» сочла за позор и Божье наказание. Отмаливала грех дочери на ежедневных службах в старом, обшарпанном храме. (А когда года через три случилось ей в магазине всё-

таки наткнуться на Нюру с чёрненьким сыночком и мальчик подбежал к старухе с криком «Бабуська!», она в страшном испуге, скорым шагом, набычившись, убралась вон, после чего в этом Рабкоопе её ни разу не видели – стала закупаться теперь бабушка в продуктовой лавке лесозавода.)

Чуждый люд, в отличие от родной большухи, наоборот, полюбил Ваню Чёрненького, но любовью странной, любовью-любопытством. Ни один человек не проходил мимо, чтобы не отличить мальчика улыбкой, шутливым словечком, а то и гостинцем. Постепенно это стало ему в тягость.

И дошло до того, что Ваня, будучи уже школьником, стал завидовать серым, невзрачным, незаметным, ничем не выдающимся детям. Он как бы хотел сказать: «Чёрненького-то меня всяк полюбит, а вот вы меня беленького полюбите!»

В нём возникало иногда странное желание быть оскорблённым матерью, обруганным, побитым, как, по его наблюдениям, случалось с обычными, «белыми», детьми из рабочих семей, – там он видел любовь в её, как он считал, истинном проявлении, но его мать Нюра, «как назло», была бесконечно добрая, мягкая, и он в смутной жажде каких-то более сильных ощущений безотчётно стал вызывать «огонь на себя», дома постепенно становился неслухом, а на воле – забиякой и драчуном.

Он хотел быть как все и ненавидел цвет своей кожи. Озорники знали это его больное место и не жалели прозвищ: «Ванька, помойся!», «Головёшка!», «Африкан!».

Ему оставалось лишь кричать в ответ: «Я русский! Я русский!» И бросаться в драку на обидчика. Не вдаваться же в долгие рассуждения о психических свойствах человека – приобретённых и врождённых, о которых толковал с ним по вечерам поселившийся у них после освобождения дядя Генрих, бывший профессор-генетик...

Учёный язык у Вани был, конечно, не в ходу, но в просторечье он блистал.

Забавно было слышать от него, от «обезьяны», местные словесные обороты, присущие лишь коренным обитателям этого посёлка.

Например, при игре в городки срывалось с его алого язычка:

– На-ко, лешой! Промазал! Ужот-ко, с разбегу ежели...

В завершение перебранки этот негритёнок восклицал:

– Водяной ты понеси!

А если падал и ударялся, то восклицал:

– Ох, ти, мнеченьки!..

## 4

Он подкупал одним своим появлением.

И в школьном коридоре в перемену женщины-учителя, в основном вдовы и старые девы, всегда заступали ему путь, приседали перед ним, чтобы попасть под его лучистость, заговаривали с ним. Он с трудом выносил их сладостное вни-

мание, терпел лишь по широте души. Улыбался. «Солнечный ребёнок!» – вздыхали женщины.

Проницательный физрук-фронтовик углядел в нём нечто более основательное. В учительской, среди педагогов, физрук по-военному чётко произнёс:

– Проворный, хитрый, отчаянно смелая душа...

Не остался без внимания и незаурядный природный артистизм Вани «Пушкина». В новогоднем спектакле ему дали роль Щелкунчика. Образ был освоен им мгновенно. По сцене он ходил, как деревянный. Сверкал глазами. Зубы, крепкие, в самом деле способные вдребезги расщепить любой орех, скалил устрашающе. И дети, и учителя были поражены его игрой, а девочка из параллельного класса подошла и сказала:

– Давай дружить.

Увы, чувства были ещё не настолько сильны, чтобы она смогла справиться со злопыхательством ребятни, кричавшей им вслед:

– Жених и невеста из чёрного теста!

Дружбы не получилось. Страдали оба. Девочка – от вынужденной измены, а Ваня – от людского жестокосердия.

Неожиданное признание его сценического таланта «настоящими артистами» смягчило боль от первой любовной неудачи. Он сыграл своего Щелкунчика на большой сцене в городе. Театральная молва не знает границ. О дивном негритёнке проведали на Одесской киностудии. Там искали чер-

нокожего мальчика для роли в фильме о матросах парусного флота...

## 5

В отрыве от земли, в полёте, мать в поезде тупо улыбалась. Казалось, она совсем потеряла рассудок от грохота, рывков, качки вагона, от бесконечности стиральной доски леса за окном. А Ваня прилипал к стеклу, плющил нос и щёку, криком сообщал матери об увиденных шлагбаумах, водокачках, стадах коров и принуждал смотреть.

Порой он сам отражался в стекле, заглядывал в вагон, словно скользя по телеграфной проволоке, нёсся там в дыму и саже от паровоза, не отставая ни на метр. На остановках отражение пропадало, и тогда уже бабы, перронные торговки, с удивлением глядели на это белозубое существо в вагоне.

Россия представала перед Ваней в разрезе. Сонные болота после отъезда, утром, постепенно прорастали елями и соснами, древесный частокол сгущался до непроницаемости, и к вечеру заросли, казалось, доставали вершинами до небес. А проснувшись на следующий день, Ваня уже дивился голым травянистым холмам. К вечеру земля за окном совсем сгладилась и Ваня услышал от попутчиков слово степь.

Переезжали через мост. Дядя Лёва, (режиссёр Бабаджанов) тоже почти как Ваня с чёрным каракулем волос на голове, смуглый и носатый, напевно произнёс:

– Чуден Днепр...

Деревца теперь были низкие, словно кустарник. Домики в их гуще – белые и маленькие, едва заметные. Но главное – жара!

Мать Вани изнемогала, обмахивалась платком и прикрывала глаза, словно кура на насесте. Режиссёр своим губастым ртом жадно хватал струю воздуха из форточки и утирался вафельным полотенцем. То и дело ходила умыться в туалет помощница режиссёра Эллочка, каждый раз после этого подкрашивая губы и наводя тени. Одному Ване жара была нипочём. Он смеялся, переползал с полки на полку, мелькая белыми подошвами. Строил перед Эльвирой уморительные рожицы.

Девушка очаровала его с первого взгляда. Губы её постоянно шевелились, она будто всё время что-то нашёптывала, в больших серых глазах играли «зайчики» и даже волосы были весёлые. Она читала ему книгу «Судьба барабанщика», и сначала Ваня сидел напротив за столиком. Потом силой её притяжения был перемещён к ней на лавку и норовил приласкаться. Влюблённый, бегал за ней следом до туалета, смущал ожиданием, хватанием за руку. При этом он воинственно поглядывал на Бабаджанова как на соперника – так непроизвольно действовали на него красота и молодость Эльвиры. И пылкость мальчика, его непосредственность, сначала просто умиляли режиссёра, он сокрушался об утраченной свежести собственных чувств, но скоро напори-

стый негритёнок стал раздражать его, а покладистость Эльвиры и её увлечённость энергичным поклонником рождали в душе упрёки. Надо было что-то предпринимать, и он придумал для Эльвиры совершенно не обязательную работу: составлять список реквизита для этого нового актёра, рисовать эскизы его костюмчика, прикидывать смету, для чего увёл девушку в вагон-ресторан, как место, более подходящее для серьёзного дела.

Переживая поражение, Ваня пылал от гнева – у него покраснели глаза. Он громко пел, ударяя книгой по столу. Мать успокаивала, стыдила. Он долго отбивался от неё, а потом одним прыжком очутился на багажной полке, забился в угол и затих...

## 6

Во всю ширь распахнув свою пасть, море дышало зноем. Листья пальм над верандой военного санатория висели безжизненно. В их тени режиссёр Бабаджанов репетировал с Ваней.

Максимка (так звали мальчика по сценарию), в одной набедренной повязке, без слов должен был вывернуться из лап злобного капитана-работоторговца (Бабаджанова), укусить его за ногу и вскочить на корабельный борт (диван). Это было проще пареной репы, как убеждал Ваню режиссёр. Но мальчик оставался вялым и безразличным. Капризничал, как дев-



чонка. Так происходило всякий раз, пока на площадке не появлялась Эльвира. Девушка непременно представлялась Ване словно бы флакончиком, сразу в душе его ксилофон начал выколачивать мелодию Чайковского из многожды игранный им новогодней пьески, и он, как в сказке, грянув оземь, оборачивался послушным, исполнительным, выдавал сценку с блеском. «Эх, жаль не на камеру!» – сокрушался Бабаджанов. И слышал в ответ успокоительное, твёрдое по-мужски: «Ничего, я ещё могу!»...

В начинающем артисте открылся незаурядный шантажист: «Или Эльвиру мне, или...»

Ради искусства режиссёр готов был делить помощницу с маленьким обожателем.

Как-то само собой Ваня оказался в положении сына полка, что нередко случалось на недавней войне. Статные мужчины, видные актёры – Андреев и Чирков, Тихонов и Бернес – не только по ходу вживания в роль, но и на досуге, в отрыве от своих детей, тянулись к Ване, брызгались с ним в черноморских волнах, угощали мороженым, носились по песку, посадив его на закорки, играли в кольцеброс...

Вполне устроенной оказалась и мать. (Стивидоршу стали привечать со всей почтительностью ещё в вагонном купе, тогда Ваня впервые услышал, как её называют по отчеству, Анна Павловна.) Мать зачислили в штат поварихой, её возили в студийной машине на Привоз, откуда она возвращалась с корзинами продуктов, и вечером на лужайке под акация-

ми накрывала стол с блюдами собственного приготовления, одетая в платье, подаренное Эльвирой.

Счастье длилось до тех пор, пока на двух автобусах не привезли массовку негров для сцен работорговли<sup>18</sup>.

## 7

Как только первые чернокожие стали выскакивать из автобусов на лужайку под акациями, Ваня спрятался за широкие белые штаны Бабаджанова.

Он никогда не видел негров (в зеркале не в счёт). Не считал себя негром, как бы ни старались просветить его дворовые мальчишки в порту. Глядя в зеркало, необычный цвет своей кожи относил к некоему уродству, как хромоту, заикание или косоглазие, но такое обилие чёрных людей уже нельзя было оправдать никакими кривотолками. Вот они-то и в самом деле были «трубочисты», заслуживали язвительных

---

<sup>18</sup> Негры в СССР, бывшие взрослыми в том, 1952 году, происходили из трёх групп: из пленных итальянцев, из эвакуированных испанцев времён гражданской войны на Пиренеях, из американских коммунистов, сбежавших из США по идейным соображениям, или внебрачных потомков темнокожих специалистов времён индустриализации. Дети в случайных браках, подобно Ване Барынину, могли появиться также от контактов наших женщин с моряками союзников не только в Архангельске, но и в Мурманске, а также и с иранскими техниками. В войну через Иран приходило в Союз по ленд-лизу до 2000 автомобилей в месяц. Профессиональным актёром из этих плодов межрасовых браков стал лишь один Роберт Росс, сыгравший после «Максимки» ещё несколько заметных ролей в разных советских фильмах.

прозвищ, и у него самого, наученного портовой шпаной, на языке вертелись эти обидные словечки.

Мир перевернулся.

Бесстрашный шоколадный сорванец, без раздумий прыгавший в море с высоченного утёса, заговаривавший с любым незнакомым взрослым и залезавший в клетку к огромному псу-волкодаву, привезённому для съёмок, вдруг оробел при виде родных по крови, себе подобных существ. Они подходили к нему – он шарахался от них, запирался в своей комнате и на все увещевания Бабаджанова только яростно мотал головой и стонал сквозь зубы. Последняя надежда была на Эльвиру. Она ласково говорила с ним через двери, просила впустить на минуточку под тем предлогом, что мороженое растает, но Ваня был непреклонен.

Стоявший рядом с ней Бабаджанов паниковал:

– Эля! Кажется, он их просто органически не переваривает. Что нам делать с этим маленьким расистом?

Что-то ужасное виделось Ване во множестве этих чёрных людей: ночные тени при луне, бред скаралатины в красном свете изолятора, туши тюленей под бортом лодки... Он перестал есть. Лежал на своей кровати, уткнувшись в стену. Никакие увещевания не действовали. Бабаджанов попросил Анну Павловну:

– Поговорите вы с ним.

– Что же я могу? Он мне и лица не кажет.

– Ну, вы как-нибудь по-матерински...

Она трогала его за плечо, гладила по голове, а он откидывал её руку и выкрикивал:

– Домой хочу! Поедем домой!

В чувство привели его слова, сказанные тихим, печальным голосом.

– Мне, Ванечка, отпуск дали за свой счёт. Здесь тоже копейки платят, коли на всём готовом. Ты не будешь представлять, денег на обратную дорогу вовсе не наберём. Не упрямствуй, сынок. Сделай, как просят.

И на следующий день в сцене бунта рабов на американском корабле он не то чтобы сразу вошёл в образ, но для начала хотя бы притворился одним из «них».

Ему необходимо было сказать несколько слов по-английски, и этой фразой «captain ustipit»<sup>19</sup> из него будто вышибло пробку болезненного предубеждения.

После команды «снято» он принялся раскачиваться на канате, смеяться и выкрикивать какую-то тарабарщину, якобы по-английски...

Высота была опасная, он мог сорваться и покалечиться.

Роберт Росс, вождь «восстания», актёр голливудской стати, протянул руки, и Ваня с доверчивостью младенца упал в его объятия.

И тут с Ваней произошла ещё одна метаморфоза.

Если раньше он не пропускал ни одного вечернего застолья под акациями, смеялся над остротами Бабаджанова, упи-

---

<sup>19</sup> Капитан не уступит (*англ.*).

вался романсами Эльвиры и её игрой на фортепьяно, то теперь он стал пропадать на берегу моря в палаточном лагере «рабов». Раскрыв рот, слушал блюзы под гитару красавца-гордеца Роберта Росса и во все глаза глядел на танцы у костра, когда гитарист зажимал между ног перевёрнутое ведро и принимался колотить по днищу кистями рук так, что дух захватывало...

...Море давно захлопнуло жаркую солнечную пасть, и теперь могло показаться, что в непроглядном чреве южной ночи извивались и дёргались у костра какие-то беспозвоночные рептилии – настолько гибкими были тела в танце, суставы гнулись вопреки всякой анатомии. Танцоры не сходили с места, в отличие от вальсирующих «белых» там, на вечеринке, высоко на берегу. Здесь танец происходил в пределах тела: и танец живота, и танец шеи, и танец рук... Рывки, выпад, прыжки сменялись полным расслаблением, текучестью, чтобы безжизненный комок мышц опять взорвался в бешеном кружении под гортанный распев бесконечно повторяющегося мотива.

Ваня танцевал вместе со всеми.

Очередной его влюблённостью стал этот великолепный Роберт Росс. Ваня всюду ходил за ним, слушался с первого взгляда. Эльвиру знать не желал. Ночами в своей кровати он намечтал себе, что Роберт Росс – его отец. А почему бы и нет? Корабль разбомбили «фрицы», а Роберт выжил на обломке мачты, как было написано в книжке, по которой сни-

мался фильм.

Теперь Ваня был озабочен только тем, как бы открыться найденному отцу. Без матери тут не обойтись. Она должна была увидеть Роба и признать в нём родителя Вани. Однажды перед сном он поведал ей о своих догадках.

Подсев к нему на кровать, Анна Павловна незаметно плакала, гладила его по комковатой голове и говорила, что «твой папа был лет на десять старше, и курносый...».

После крушения заветной мечты Ваня, казалось, ещё сильнее полюбил Роберта Росса.

Родным стал для Вани и берег этой бухты на «Тринадцатом фонтане». Он блаженствовал, овеваемый степными ветрами, его нежили прохладные морские бризы. В полдень шелестели над ним листья пальм, а в полночь звенели цикады.

В его воображении здесь сложилась его семья – мама управлялась на кухне, а папа учил его игре на гитаре. Из памяти напрочь стёрлись портовые бараки на сером Севере, выветрилась из души школьная тоска, унялась боль от мальчишеских оскорблений и давно зажили полученные в драках невидимые синяки.

Но время неудержимо подвигалось к осени. И настал тот час, когда весь этот холодный знобкий ком северной памяти вдруг обрушился на него, ошеломил и привёл в ужас: было объявлено об окончании съёмок и назначен день отъезда.

– Не хочу домой! Не хочу уезжать!

Зубы сверкали на залитом слезами антрацитном лице, он

зверьком забился в угол гостиничного номера и обоими кулаками яростно бил по полу. Когда мать протянула к нему руки, чтобы обнять и успокоить, он вскочил на ноги и выпрыгнул в окно.

Весь день его искали – в саду санатория, в дачном посёлке, спрашивали у кондукторов трамваев. Бабаджанов ходил с жестяным рупором, посылал призывы направо и налево.

Лишь к ночи Ваня вышел на голос Роберта Росса – выбрался из недр бутафорского корабля, и то лишь после того, как обожаемый «папа» прибег к военной хитрости:

– Ваня! Будет вторая серия. Тебя обязательно пригласят.  
(Такие намерения действительно имелись в планах у Бабаджанова...)

Теперь в поезде лента жизни Вани стала отматываться назад будто киноплёнка на монтажном столе: сухая пыльная степь, Днепр стального цвета, жухлые купы садов и белые домики в них, ставшие как будто выше, перелески и лесополосы, дубняк и березняк под облака, мрачные завалы тайги, корявый болотник...

## 8

Сначала уходили на завод в иссиня-серый рассвет мать с дядей Генрихом, а потом Ваня с братьями – в школу, но лишь потому, что там было теплее, чем в комнате барака: за ночь в углах нарастал лёд, волосы примерзали к прутьям железной

кровати, изо рта шёл пар.

Отогревшись в классе, Ваня брёл на вокзал в валенках и в зипуне с короткими рукавами. Обнажённые запястья жгло морозом. Он шмыгал носом и подпινывал коленкой сумку с книжками. На перроне бросал сумку к стене и засовывал руки в рукава для обогрева.

Все поезда отсюда уходили только на юг. Он дожидался вечернего. Облако пара с зыбким огнём внутри накатывало на вокзал. Чемоданы, узлы, сундуки растаскивались оживлёнными пассажирами по своим местам.

Только кондукторы с флажками оставались на морозе. Начальник в красной шапке сердито отодвигал сапогом сумку с книжками и ударял в колокол. Черета уютных мирков протаскивалась перед Ваней, ускоряясь, пока в обрыве не загорался красный, быстро угасая в холодной испарине...

Потом до прихода матери, до того, как затрещат дрова в «буржуйке» и сготовится горячее, Ваня в одиночестве бродил между барачков, пинал ледышки на укатанной дороге, погреться заходил в магазин.

Теперь дети сторонились его. На любое их слово он отвечал воинственными наскоками, дрался яростно, молотя кулаками без разбора. «Бешеный гуталин!» – кричали они уже со значительного удаления. И вот однажды, тоже с довольно безопасного расстояния, они заорали:

– Ванька, ты в клубе на картине нарисован.

– Кино «Максимка» сегодня.



- Не врал, Баобамба. Молодец!
- Про что кино-то, артист?..

## 9

...Из зала он ушёл, не досмотрев, со слезами на глазах от нахлынувших воспоминаний счастливого лета...

Дома за ужином он сидел печальный. Анна Павловна сияла от радости. А дядя Генрих рассуждал:

– Вот ведь как получилось у тебя в жизни, Ваня! Ты пришёл к славе, не понимая ещё, кто ты есть на свете. Ну, вот теперь, значит, она, слава, и определит, что ты за фрукт... Я тоже, Ваня, в своё время был в великой славе, потом испытал величайшее бесславие. Ну что тебе сказать? Не переживай. В сущности, это одно и то же...

А в школе набросились на него директор с завучем:

– Теперь ты, Ваня, должен...

– На тебя весь Советский Союз смотрит...

– Чтобы с завтрашнего дня...

А Ваня знать ничего не желал.

В самый разгар приполярной зимы взяли над ним полную власть свободолюбие и беспечность уроженца пустынь и прерий.

Ошеломительная известность (слово «популярность» тогда ещё не было в ходу) разнесла в пух и прах все условности его жалкого существования в забытом Богом рабочем посёл-

ке.

Он стал жутко уверенным в себе, с различными наставниками (учителями, пионервожатыми, уполномоченными по делам несовершеннолетних) держал себя на равных, а то и поглядывал свысока.

И наоборот, удивительно покладистым стал с дворовыми мальчишками, блаженно улыбался в ответ на все их кривлянья и злословие, как человек поживший.

## 10

Всю зиму он ждал вызова на съёмки второй серии, а не дождавшись, с первыми тёплыми апрельскими деньками (0–5 градусов) влез в ящик под пассажирским вагоном московского поезда.

С поезда его сняли в Вологде, вернули домой.

Через месяц он снова совершил побег. На этот раз ему удалось доехать до Ярославля.

Дома на него завели «дело», как на малолетнего правонарушителя. Грозил колонией.

Спасать «коллегу» примчался режиссёр Бабаджанов. Он уговорил Анну Павловну отдать Ваню на воспитание в его семью. Анна Павловна согласилась. Потом она часто бывала в Ереване. Ваня окончил музыкальное училище, играл на трубе и пел джаз. Анна Павловна дождалась ереванских внуков. Их было много у четырежды женатого Ивана Ивановича.

ча Барынина, мирно скончавшегося под южным небом в возрасте семидесяти лет в 2012 году.

*P. S.*

По другим данным, И. И. Барынин умер в юном возрасте в 1957 году от крупозного воспаления лёгких и похоронен на своей северной родине.

# Последний бал К. Г



1

Кладбище древнее. Перемешаны тут в земле десятки поколений горожан. Старинных могил немного. И все они –

под стенами храма, как часть фундамента.

На чёрной мраморной плите споры мха не прижились.

Сто лет, а плита как новая. Мох только в желобах надписи, и можно прочитывать:

«Андрѣй Васильевич Гагаринъ, корнѣт. 1898–1919 гг.»

И ниже – барельеф в виде двух скрещённых пистолетов с длинными дулами, дуэльных...

## 2

Они бегали вокруг стола. Ксюша дразнила его: – Корнет, а где же ваш кларнет?

Он на ходу сочинял:

– Прекрасная Дама не знает, что часто от радости рот разевает...

Теперь уже она бросалась за ним, чтобы поколотить кулачками по спине, обтянутой чёрным сукном новенького мундира, сама будучи вся в белой кисее.

Он поворачивался к ней. Смирял. Слова утопали в неге.

– Свой ротик прелестный разинув, глядит на кузена кузина... Они целовались.

## 3

За окном, у памятника Петру, духовой оркестр отбивал

польки и марши. Завывания гармошки в портовом кабаке подхватывали трубные голосяща пароходов.

А из-за кружевных штор усадьбы Ганецких, из-под пальчиков Ксюши изливались на площадь волны фортепьянной музыки – праздник тезоименитства государя совпал с парадом союзных войск.

Она встала из-за рояля.

– Идёмте, корнет! Сейчас начнётся...

На портовой площади выстроились роты канадских стрелков в грубых суконных куртках.

Клетчатые юбки ветерком колыхались на солдатах шотландской пехоты.

Перед своими ползучими чудовищами из клёпаной стали замерли в строю одетые в кожу экипажи бронетанкового батальона герцога Этингенского.

Духовой оркестр умолк.

На трибуну-временку взбежал бородатый господин в сюртуке с серебряными пуговицами.

Он снял шляпу и принялся вбрасывать в вязкий воздух июньского полдня слова о войне и чести, о великодушии горожан и благородстве воинов.

– Папа сегодня в ударе, – прошептала Ксюша и слегка притиснула к груди локоть корнета.

Корнет сиял, вытягивал подбородок из жёсткого воротника, крутил головой.

Он был высок. Верхняя губа и щёки гладко выбриты.

Глаза были насторожённо распахнуты, и ноздри трепетали на крупном носу, словно бы он постоянно к чему-то принюхивался, – контузия не отпустила.

Он уже почти не хромал, но от него всё ещё пахло карболкой, что всякий раз останавливало Ксюшу во время объятий, и сейчас на площади она тоже осторожничала...

Начался парад.

Шотландцы с голыми коленками, увешанные кистями и килтами, под звуки волынок промаршировали в полусажени от корнета и Ксюши. На неё опять напали смешливые корчи, и опять она не позволила себе во всю силу, нажимом локтя, передать свои чувства корнету.

Шепнула на ухо:

– Боже, как они милы!

Глаза у корнета потемнели.

– Смешны, ты хотела сказать?

– Ну конечно, Андрэ! *Bien sûr!*...<sup>20</sup>

## 4

Званный обед в доме предводителя уже начался, когда на пороге гостиной появился некто будто бы в маскарадном костюме, напоминающий также Робинзона Крузо на необитаемом острове или индейца племени чикос – таким перед со-

---

<sup>20</sup> Именно так (*франц.*).

бравшимися в гостиной Ганецких предстал майор шотландского корпуса Оливер Келли – с меховой шапкой *bonnet* под мышкой и красным пледом через плечо (своеобразная шинель). Он был изысканно-кудрявый, что точнее определяется как кучерявый. Глаза ширились в напускной браваре. Обнажённые костлявые колени мерцали устрашающе.

«Стандартный габби», – подумал о нём корнет/<sup>21</sup>

В честь гостя все перешли на английский.

Майор крайне оживился. В свою очередь, рассматривал обедающих, как неведомых зверушек, и громко хохотал. Причину чрезмерного возбуждения нашли простительной – позади у майора Келли был опасный морской переход, после чего он неожиданно для себя вдруг попал *from the ship to the ball*<sup>22</sup>.

Ксюша звонко смеялась. Её щёки пылали. Она закрывала лицо салфеткой, а когда над обрезаем крахмаленного ба- тиста вновь показывались её глаза, то корнет видел совсем другую Ксюшу, словно бы они с ней играли «в маски», когда по правилам требовалось с каждым снятием платка с лица предстать в новом образе.

Это было ими придуманное, их сугубо личное развлечение: показ «масок» перемежался поцелуями, горячими словами любви.

Но теперь Ксюша невольно как бы играла в ту же игру с

---

<sup>21</sup> Gabby – герой шотландских анекдотов о скупцах (*англ.*).

<sup>22</sup> С корабля на бал (*англ.*).



этим клоуном в дикарской одежде – так для себя определил его корнет.

У Андрея онемела рука и задёргалось веко.

Мрачная волна накрыла Ксюшу со стороны корнета.

Девушка замерла на мгновенье. Её просквозило чувством острой вины без раскаяния.

Она отважно, с прищуром, глянула на корнета.

Андрей не в силах был понять природу сковавшей его боли – здесь, в её доме, ставшем почти родным, в дуновении тёплого ветра с реки, в колыпании лёгких занавесей, по нему был нанесён коварный удар...

Боль усиливалась, сдавливала виски, в глазах меркло, словно бы в пыточной камере подносили раскалённое железо всё ближе и ближе, – это Ксюша на пути к роялю приближалась к нему.

Она наклонилась и примирительно шепнула:

– Кларне-ет?..

Ощувив вместо ожога на щеке трепет её волос, почувствовав запах её духов «Kotty», корнет воспрял духом, словно к его пылающему лбу приложили лёд, а голос Ксюши в романсе «Сирень», полном недоговорённостей, обволок его любовью, хотя и не умиротворил...

## 5

Шотландец, стоя у рояля, дирижировал. Потом он вдруг

стал громко, тупо бить в ладоши и вытаптывывать нечто плясое. Ксюша не растерялась: на двух басовых нотах она озвучила предложенный ритм, а на клавишах с тонкими голосами повела партию волынки.

Майор Келли принялся отплясывать Breton stap<sup>23</sup>, заложив руки за спину и звеня бубенцами на подвесках у щиколоток.

Подковы на его жёлтых ботинках из свиной кожи щёлкали по дощечкам паркета с невообразимым проворством. То он в сплошном биении каблуков словно бы становился невесомым, то обрушивался на звонкие дубовые плашки всем весом, словно пытаясь пробить дыру в полу, то нога его взлетала навыворот, как при игре в «чижика» и он принимался подпинывать себя по заду...

Так он долго выкаблучивался и в конце концов упал перед аккомпаниаторшей на колени в благодарном поклоне.

Корнет исподлобья гневно наблюдал за происходящим.

Он готов был сорваться с места и шумно, вызываяще покинуть застолье в тот миг, когда рука Ксюши коснётся волосатого запястья заморского гостя.

Он уже отложил вилку и вытащил салфетку из-за воротника.

Ксюша листала ноты на пюпитре, словно не замечая колёнопреклонённого.

---

<sup>23</sup> Кейп-Бретон степ (англ. Cape Breton Step) – разновидность шотландского танца в жёсткой обуви.

Несолоно хлебавши шотландец поднялся с колен.

Волна признательности к невесте вышибла слёзы из глаз корнета...

## 6

Вечером на губернаторском балу старый барабанщик деревянными палочками по ободу выстукивал на хорах сдвоенные начальные доли полонеза. Вторые и третьи доли смягчал ударами по натянутой коже. Выстреливал по каждой танцующей паре наособицу, следя за попаданиями, – удары взбадривали танцующих, подхлёстывали, а скрипки на подхвате несли в полёт.

Корнет с Ксюшей, держась за руки, шли в середине шествия.

Ксюша вдохновенно-низко приседала и с силой выпрямлялась, почти подпрыгивала, в её движениях было что-то гимнастическое, а руку корнета она использовала как брус в балетном классе.

Готовность терпеть боль в руке была у корнета беспредельная, ибо в зале не обнаруживалось петушиных перьев резвого майора.

Корнет наговаривал Ксюше на ухо:

– Канун Рождества... Шотландец посылает жену на другой берег реки в город за покупками. Но вместо денег даёт ей письмо. И знаешь, что там написано?

Ксюша ответила стремительно:

– Там было написано: «Прошу отпустить в кредит. Деньги посылать вместе с супругой не рискую: лёд на реке ещё некрепок».

– Откуда ты знаешь?

– Келли рассказал. Папа предложил ему квартировать у нас.

Словно брус в балетном классе обломился, Ксюша пошатнулась, сбилась с такта.

Торопливо добавила с напускной досадой:

– Вот навязался на нашу голову этот майор!

Но в танце не солжёшь. В движении больше искренности, чем в слове. Их руки ещё были плотно сжаты, но сами они уже двигались по отдельности.

Скрипки в полонезе взлетели до финальных высот, музыка обрушилась барабанной дробью и затихла.

Бинт на ноге корнета торчал из-под брючины.

Ксюша виновато улыбалась оттого, что только сейчас вспомнила о его ранении...

## 7

В курительной комнате корнет перебинтовывал ногу. За стеной грянула мазурка. В отличие от чопорного полонеза, это была музыка измены. Сильная доля постоянно смещалась то на вторую, то на третью, заражая танцующих легко-

мысленной вёрткостью.

Когда корнет закончил с перевязкой и вернулся в зал, то увидел, что под тяжёлой люстрой кружились и подпрыгивали Ксюша с майором Келли.

Экзотический наряд шотландца сам собой составлял отдельное зрелище. Бубенцы на его ногах трезвонили.

Заменившая клетчатый плед белая шёлковая накидка, словно туника, трепетала за плечами. Развевались полы юбки – теперь уже синей, в мелкую клеточку...

Чужестранец был так хорош собой, так мучительно красив, что в корнете зажглась охотничья страсть – в бытность и бедность свою деревенскую он с особым наслаждением убивал на охоте пёстрокрылых тетеревов в минуты их брачных игр...

## 8

Андрей Гагарин происходил из рода опальных бояр времён «второго Самозванца». Его далёкому пращуру велено было сесть на «чёрную соху», добывать пропитание трудами своих рук на реке Ваге.

Отец Андрея, управляющий казёнными лесами, называл себя «дворянин во крестьянстве».

Андрей рос неотёсанным деревенским парнем, но семь лет в пансионе мадам Ульсен при гимназии этого города выявили в нём природный аристократизм.

Раненный в Ледяном походе, сквозь большевистские кордоны он пробрался в этот северный портовый город – здесь, на Сенной, жила его мать.

Вскоре Андрей удостоился визита к предводителю дворянства и влюбился в его дочку Ксению...

## 9

Он наблюдал за порхающей парой из-за колонны.

Третья, четвёртая фигура... Полёты дамы вокруг кавалера, бег по кругу с поддержкой за талию, прыжки в стороны и вот, наконец, совместный поклон.

Шотландец передал Ксюшу матери и встал в стороне, торжествующий.

За спинами зрителей корнет пробрался к нему сзади и произнёс:

– I hope ostrich feathers on your head do not report their media known habit of these birds<sup>24</sup>.

Келли нахмурился.

Не дождавшись ответа, корнет усмехнулся:

– Yeah! It seems so. Hardly that, and head in the sand<sup>25</sup>.

Теперь уже шотландец отреагировал мгновенно:

---

<sup>24</sup> Надеюсь, перья страуса у вас на голове не сообщают их носителю известную привычку этих милых птиц.

<sup>25</sup> Ага! Кажется, так и есть. Чуть что, и голову в песок.

– Where and when?<sup>26</sup>

– At five in the morning,<sup>27</sup> – сказал корнет и добавил по-русски: – На Мхах!..

## 10

Прошло полгода.

Союзники грузились на пароходы. Трамваев было не слышать из-за грохота ломовых телег по булыжникам проспекта. Военные обозы тянулись без конца, кондукторы звонили, не переставая.

На палубе двухтрубного *Viktory* оркестр играл марш. Ать-два!.. *Time... Two...* И старому барабанщику здесь требовалось только тупо, бессердечно бить фетровой колотушкой по громадному бонгу.

Людей на палубе попросили перейти на правый борт: «Из города могут стрелять».

Под прикрытием стальной рубки Ксюша смотрела на прозрачные льдины. Они напоминали ей хрустальный гроб из сказки о спящей царевне.

Отнюдь не сказочный цинковый ящик лежал под её ногами глубоко в трюме. Там покоился майор Оливер Келли (1890–1919 гг.) – граф, наследник замка в Хэддингтоне, прямой потомок Уильяма Уоллеса...

---

<sup>26</sup> Где и когда?

<sup>27</sup> В пять утра.

Майора убили партизаны близ деревни Верхопаденьга  
(Vierchopadienga)...



# Дом для девы

*Памяти Бориса Шергина*



## 1

Играли в «чижика».

Оля спряталась за поленницей.

Вдруг сверху повеяло на неё холодком.

Разгорячённая бегом девочка желанно подставила лицо

этому свежему ветерку и застыла в страхе. Облака над ней словно бы сошлись в виде простоволосой женщины с ребёнком. Как у живой, были вытянуты руки у этой женщины, и младенец на огромной высоте сидел в подоле без поддержки.

До того явственно всё было слеплено, что девочке даже стало страшно за ребёнка. Она прихлопнула рот ладошкой и увидела, как небесная плывунья повела рукой, будто успокаивая её; с перстов её рассеялся дождик, на лицо девочки брызнуло...

Оля выскочила из укрытия на мощёную улицу с криком:  
– Глядите! Богородица!

Дети подняли головы. На их глазах женщину с ребёнком окутывало лимонным маревом, а тучи при этом разносило сразу во все стороны, словно ветер подул снизу.

Страх за младенца на высоте не отпускал Олю.

– Как бы не упал! – шептала она.

– Скажешь тоже! Чай, не с наёмной нянькой.

– Маленький Спас у неё.

– Глядите! Он тоже ручкой помахал!

– Летят прямо на солнце.

– Зажмурься, ослепнешь!

– Я между пальцев, в щёлочку..

Кроме детей, на улице не было ни души.

Булжники под их ногами, sprysnutyie небесной влагой, бугрились и сияли под солнцем, будто изнанка туч. Дети на этих каменных облаках казались оторванными от земли, то-

же куда-то летящими...

После того, как видение растворилось в бездонной голубизне, они ещё долго оставались молчаливыми, подавленными непосильными размышлениями.

Игра разладилась.

Щепочка-«чижик» так и осталась лежать на доске нетронутой.

Молча, не сговариваясь, дети разошлись по домам.

## 2

Вечером в квартире Земелиных стучал маховик «Зингера». Мать шила. Оля сидела в «красном» углу под образами и плела венчик для куклы. Она то и дело раздвигала занавески и глядела в окошко. Мрак за окном был звёздный, августовский.

Зинаида Ивановна спросила:

– Что с окошка глаз не сводишь. Или ждёшь кого?

– Мама, а я сегодня Пречистую видела. И Спас у неё на коленях.

– В храм, что ли, навевывалась?

– Нет, мама. Она к нашему дому спустилась.

– Не мели давай несусветно.

– Она мне рукой помахала, мама!

– Олька! Или с головой у тебя что?

– Я её, мама, теперь век не забуду.

Мать протянула руку и потрогала у девочки лоб.

– А хоть и у Гали спроси. У Серёжи. Тебе всякий скажет.

И Валя, и Миля, и Витя, и Юля!

Они долго и выжидательно глядели в глаза друг другу.

Озадаченная мать снова принялась строчить на машинке.

Искоса незаметно посматривала на дочку. Тревожно стало на душе. Шитьё разладилось. Не говоря ни слова, она пошла к соседке.

Варвара Семёновна Киселёва в общей кухне готовила на керосинке.

– Варвара, ну-ко, не говорила ли чего твоя Юлька про Богородицу?

– И Юлька, и Серёжка – обои в один голос ерунду какую-то мололи. Матерь Божья на облаке! Прилетела, мол, поглядела, – и след простыл.

– Ой, нехорошо это, Варвара.

– Чего же нехорошего? Ежели бы чёрт с рогами...

– Не до смеха. Знак это, чует моё сердце. Пойду ещё к Ульяне схожу.

Она поднялась по скрипучей деревянной лестнице на второй этаж и, немного погодя, скорым шагом миновала кухню.

– К отцу Михаилу надо, – доложила она соседке.

### 3

Священник Воскресенского храма Михаил Иванович По-

пов жил в собственном доме через дорогу. Он сидел в своём кабинете при свечах и составлял текст молитвы к заутрене.

«О, святой Георгий-победоносец, даруй белому воинству победу, укрепи православных во бранях, разруши силы составших безбожников...», — писал он, макая перо в чернильницу.

За дверью послышался голос служанки:

— Батюшка Михаил, к вам посетительница.

Войти было позволено, и через порог с поклонами переступила швея из соседнего дома, в опорках на скорую ногу и в наспех накинута платке.

— Не прогневайтесь, отец Михаил, душа места не находит. Ребята в один голос твердят, мол, нынче под вечер видение у них было. Играли во дворе, да вдруг Богородица им в небе показалась. Ладно бы одна моя Оля, она и намолоть может незнамо что, язык-то без костей. Так ведь и все другие, как один: Матерь Божья с младенцем! И будто им рукой вот эдак...

По мере того, как отец Михаил выслушивал сбивчивую речь, рука его сначала вздрогнула, потом неуверенно стала подниматься к груди и наконец решительно рассекла полумрак комнаты крест-накрест:

— Истинно говорю: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдёт в него!

Сказано было весело, с вызовом.

Он сдёрнул сеточку с напмаженной головы, надел ками-

лавку и с большим медным крестом в одной руке и с керо-  
синовым фонарём в другой вышел, увлекая за собой посети-  
тельница.

## 4

Не такой был недостаток у жильцов этого доходного дома № 135 по Кольскому проспекту в 1919 году, чтобы провести электричество. Лица детей в темноте коридора освещались фонарём в руке отца Михаила. Свет фитиля мерцал в их глазах. Говорили взволнованно, взахлёб. Не хватало ни слов, ни опыта в изъяснениях, да и то сказать, виденное ими не имело примера. Не всякий бы взрослый осилил описание. Только у Оли нашлось несколько слов для подробностей:

– Из облаков навыворот... Ресницы в инее... Ноготки перламутровые...

Убедительными оказались для отца Михаила не столько подробности рассказа, сколько страх в глазах детей.

Дома отец Михаил взял чистый лист бумаги и заново написал текст молитвы к заутрене. Теперь его упования были обращены не к Георгию Победоносцу, а к Пречистой.

«О, заступница и предстательница наша, помилуй нас, Мати Божия, и прошение наше исполни. Да постыдятся и посрамятся безбожники-большевики, и дерзость их да сокрушится, яко мы имеем твоё Божественное заступничество...»

Назавтра о чудесном явлении сообщила газета «Епархиальные ведомости». Во всех храмах объявили весть о «явлении Божией Матери над градом Архангельским». Читались акафисты<sup>28</sup>. Толпы прихожан с иконой Заступницы прошли по набережной до кафедрального собора, где отслужили молебен о победе над безбожными супостатами. А когда разошлись по домам, то городская юродивая Евпраксия вошла в реку с образком в руке и побрела вглубь, растрёпанная и восторженная, вопя во славу спасительницы, и скрылась под водой. Полиция вытащила её почти бездыханную. Размокший картонный образок был зажат в руке намертво. Её еле откачали. Лёжа на берегу, Евпраксия блаженно улыбалась, восхищённо оглядывая лица спасителей, словно херувимов, и целовала образок в горсти.

Весть о небесной покровительнице настолько воодушевила горожан, что уже на следующий день снизились цены на рынке, в зале Дворянского собрания задаром была сыграна оперетка для офицеров Добровольческого корпуса и дан бал, а на ремонт обветшалой кровли Воскресенского храма пожертвовано много больше требуемого.

---

<sup>28</sup> Акафист – жанр православной церковной гимнографии, представляющий собой хвалебно-благодарственное пение, посвящённое Господу Богу, Богородице, ангелу или (чаще всего) тому или иному святому

Воодушевление было всеобщим.

Героем дня стала девочка Оля Земелина.

То в училище лоцманов, то в госпитале, то в казарме рабочих лесозавода Ульсена можно было увидеть в те дни отца Михаила и Олю. Он – в праздничной атласной рясе и в камлавке с золочёной выпушкой, она, скромная помазанница, – в тугом белом платочке.

Старославянские обороты речи отца Михаила дополнялись простыми словами девочки. Свидетельствовала она с каждым выступлением всё бойчее и толковее, рассеивая всяческие сомнения слушателей. Отца Михаила озаряла вера девочки. При звуках голоса Оли пророческая строгость на лице священника сменялась отеческим умилением.

Оля прославилась в городе.

От детей во дворе получила кличку Глазастая.

Стала робеть перед дочкой мать, Зинаида Ивановна. То заискивала перед ней, то сердилась бог знает отчего.

– Она куклу христосиком наряжает, – рассказывала мать соседке. – Я говорю: а не грех ли это, Оля? Она в слёзы. И я следом. Ревём как белуги...

Тут и слухи с фронта потянулись обнадеживающие. Говорили, мол, из Ярославля идёт бронепоезд на подмогу нашему христолюбивому воинству. Из Шенкурска по Ваге спускается баржа с тремя пушками, а союзники со своих кораблей уже выгружают аэропланы.

Кипели молодые силы, – в мужской гимназии старший



класс полным составом записался в волонтеры.

Девочки-скауты дёргали корпию<sup>29</sup> и прислуживали раненым.

Город жил ожиданием победы.

## 6

Ещё и рождественские праздники провели безмятежно, в уповании на защиту Провидения, но уже к Масленице опять поползли вверх цены на рынке. Затем гимназисты вернулись, побитые, грязные и голодные. Потом разрозненные союзные войска грузились на корабли и уходили в Англию, а блаженная Евпраксия ползала в слякотном месиве, норовила лечь поперёк пути отступающих.

Наконец сняли флаги с дома губернатора, и город замер.

По домам роптали. Саму Богородицу не винили, явление её не отрицали, но толковали теперь как случайное, мол, по своим делам куда-то налаживалась Мать-заступница, и попутно попался ей неказистый этот Архангельский город...

Наверняка более важное было у неё в замыслах, а отец Михаил возомнил бог знает что...

Теперь Михаил Иванович уже не улыбался. Приходил домой к Оле, и они беседовали, как облечённые неким общим, только им одним ведомым, знанием. Мать, Зинаида Иванов-

---

<sup>29</sup> Корпия (*устар.*) – растеребленная ветошь, нащипанные из старой льняной ткани нитки, употреблявшиеся как перевязочный материал.

на, чувствовала беспокойство священника. Не рада была его посещениям, поила чаем без сердечного участия. Ел аза долу. Тубы поджаты.

Совсем другим жила душа девочки. Она вовсе не подвержена оказалась всеобщему упадочному настроению. Эта её крепость духа и радовала, и тревожила отца Михаила, ожидавшего нелёгкие испытания и для себя, и для неё...

## 7

Красные вошли в город хоть и не безобразно – строим, с оркестром, но безобразно. Разве что чёрную рысь Кугу, предвестницу чумы у древних русичей, напоминала вползавшая в город колонна бунташных войск.

Небо над ними было ватным, колокола молчали, только пушки лязгали на лафетах, и высекали искры из булыжников подковы боевых коней.

На следующий день коммунары изгнали из классов семинаристов епархиального училища. Ещё через день заперли на замок все храмы в городе, забили досками окна и взялись за несогласных.

Выпустили секретный циркуляр, которым предписывалось «допросить гимназистку Земелину, утверждающую, будто бы 3 августа 1919 года над городом произошло так называемое явление так называемой Божьей Матери. Заставить признаться, что показания взяты со слов посторонних.

Если она будет настаивать, то подвергнуть оную психиатрическому освидетельствованию...»

## 8

На допросе в Чека чисто выбритый, словно актёр без грима, следователь в кожанке, наперекор Олиному рассказу о чудесном видении Защитницы небесной, принялся доказывать обратное, отрицал, вкупе с самим Богом, и всяческие сверхъестественные происшествия, таким образом косвенно признавая их, ибо при отсутствии таковых нечего было бы ему и опровергать.

— Как если бы дождя не было, никто бы его не видел, то и спору не могло быть — лило или нет, — так отвечал ему отец Михаил, бывший с Олей на допросе...

Домой из Чека Оля пошла одна. Священника арестовали. Попова М. И. обвинили в том, что он «состряпал заведомо невероятный акт о явлении Богоматери над г. Архангельском, чем сознательно старался усилить симпатии населения к представителям Союзных сил и возбудить ненависть к власти большевиков». Приговорили батюшку к расстрелу. Потом смилоstinивились, снизошли до каторги, и с тех пор его никто не видел. Но Оля, к чести обследовавшего её врача, была признана «вменяемой, с устоявшейся психикой».

Дети из дома № 135 приуныли после известия об аресте священника. Они любили отца Михаила по-соседски. Он с ними и в «чижика» играл, и на паре своих лошадей катал, и просвирками угощал...

В его несчастье обвинили Олю:

– Из-за тебя всё! Сидела бы тихо за пленницей. Так нет! Богородица, Богородица!..

– Никакого удержу не было у меня. И сейчас бы то же сказала.

– Вещунья какая нашлась!

– Никто тебя за язык не тянул.

– Беду накликала, чокнутая.

– А сами-то вы что? Будто и не видели?

– Облака это были.

– Поблазнило.

– Если бы не ты, Олька...

А городской народ шептался по углам, и опять всё о том же: отчего не обнаружила Пречистая достаточной силы?

Сошлись наконец на мысли, будто и потому ещё Богородица город оставила без подмоги, что не было в нём для неё достойного пристанища – благолепного храма в её честь! Без своего-то угла каково? Вот и не задержалась. А теперь с этими нехристями разве выступишь? Они и старое-то всё до ос-

нования...

Как в воду глядели.

Первого мая был взорван один храм. За ним вскоре разрушили и остальные.

Не тронули только невзрачную кладбищенскую молельню.

## 10

Ненапрасно болела душа отца Михаила об Олиной судьбе.

Жизнь девочки с приходом новых властей стала складываться в утеснениях.

Те же дети, что вместе с Олей совсем недавно восхищались чудесным видением над городом и горевали после ареста отца Михаила, теперь проходу не давали «глазастой» и «чокнутой». Дразнили. Захватывали в плен и принуждали смотреть на какое-нибудь причудливое облако. Нарекали облако именем святого и кривлялись.

Она вырывалась, уходила молча с опущенной головой, но никогда не плакала, не обижалась на бывших друзей.

Вовсе отступились от неё товарищи по дворовым играм после того, как ей было отказано стать пионером.

Она и не навязывалась.

Теперь после уроков шла она в церковь на Смольном кладбище. Пребывала там допоздна. Домой не хотелось. Там мама вечно в досаде, совсем с ума сошла: только переkre-

стись, сразу мокрой тряпкой со всего размаху...

– Сдалась тебе эта религия! Сколько из-за неё натерпелась!..

Это она про отца. Он, христолюбивый воин, вернулся из плена весь больной. Зинаида Ивановна проклинала его за добровольческий порыв, а он шёпотом, пока матери нет, наговаривал дочке: «Хорошая ты у меня растёшь. Такой и оставайся. Только помалкивай. На глаза не лезь. А то они меня-то, видишь, во что превратили?»

Скоро отец умер. И некоторое время спустя соседка донесла матери, что «твою Олю с безумной Евпраксией видели. Она у неё теперь в поводырях».

Мать устроила судилище. Била. Заставляла ходить в школу. Тогда Оле уже было шестнадцать лет, и она ушла жить в хибарку к юродивой Евпраксии.

Мать пыталась вернуть – не смогла даже силой...

Когда блаженная померла, Оля стала в лачужке хозяйкой, а в церкви – прислужницей. Убирала, зимой печь топила, стряпала в трапезной. Пела в хоре. Потом приняла постриг и в иночестве стала зваться Ириньей.

## 11

В тридцатых годах враждебная жизнь закружилась и вокруг этого невзрачного храмика. На паперти комсомольцы танцевали фокстрот. Обклеивали кирпичную ограду газета-

ми «Безбожник». Били стёкла.

Но вот грянула война с немцами, и всё изменилось.

Уже за первый месяц боёв скопился в душах страждущих женщин заряд вселенского горя, и, словно ударом молнии прошло, вспомнили они о Боге, произошло озарение.

Которую из городских женщин первой повлекло в низенький, убогий храм на кладбище Смольного Буяна, теперь уже не сказать, да и неважно, скорее всего, ожило высокое чувство во всех сердцах сразу, забытые молитвы сами стали срываться с уст. Из недр народной памяти выплыла история о явлении Богородицы над «городом Архангельским» (всего-то с того события прошло, считай, два десятка лет). Вспомнили и о девочке, видевшей Заступницу своими глазами и претерпевшей за то множество несправедливостей. Валом повалил народ в избушку инокини Ириньи. Вдруг все уверовали в её помазанничество. Людская молва её чуть ли не в святые возвела. С благодарностью выслушивали от неё слова утешения, прикоснуться к ней почитали за счастье.

Еогда и сама матушка Иринья была в возрасте Пречистой и облик имела премилый. Вела себя сердечно, участливо и весьма смущалась, когда старые женщины падали перед ней на колени...

Но после войны опять произошёл резкий отток в вере. У кого солдаты погибли, те, отгоревав, стали жить дальше – по наущению земной власти. А у кого вернулись с войны живые,

те посчитали своё молитвенное дело исполненным и тоже отступили.

Но всё-таки на этот раз в заблуждении своём архангелогородцы не столь глубоко погрязли, как в тридцатые годы. Евангелие стало ходить в народе, напечатанное на дешёвой бумаге, с помощью копирки или синьки, а то и в фотографиях. Мода пошла на Церковь, как на всё запретное. Начали ремонт Сийского монастыря, сначала как памятника старины, а потом вдруг пронёсся слух о возвращении святой обители в лоно законных владельцев...

## 12

К благословенным двухтысячным годам инокиня Ирина из розовощёкой девочки, озарённой видением Богородицы в 1919 году, превратилась в сухонькую улыбчивую матушку, ростом ничуть не больше той, десятилетней, Оли.

Глаза у монахини остались такие же чистые, живые, но вправлены теперь были в прозрачные, будто птичьи, веки. Ноздри тонкого носа были словно пергаментные, и личико при улыбке будто бы издавало тихий шелест...

Обитала она в монастыре отрешённо и в полном мирском забвении. Век свой измеряла от солнца до солнца, от обедни до заутрени, от Рождества до Пасхи, и так уже более пятидесяти лет. На неё снизошло старчество, – по её мудрому немногословию. Чистая келейка её была увешана пучками



пахучих трав. Матрац из конского волоса на топчане лежал убитый, одеяло из рядна скатано в валик к изголовью. И вместо домашних тапок заведены были лапоточки.

Настоятельницей уже было позволено ей не всякий раз являться к аналою. Во хворости иногда её и неделями не видали на монастырском дворе. Кажется, она уже пребывала в пред отходном блаженстве, когда однажды, словно с неба, сошли (за ней) к ней в келью четверо в чёрных плащах, приехавших тоже в чёрной, как головёшка, машине, будто бы без окон, как могло показаться и по черноте этих окон.

Она сидела на узкой лавочке, словно птица на насесте, улыбочивая ровно настолько, насколько требовалось для гостеприимства. Посетители загромождали комнатку, только и света осталось, что в лице монахини бумажной белизны и хрупкости.

– Матушка Иринья, мы по вашу душу, – сказал главный из них.

Она покачала головой:

– Душа моя, ребятушки, в управе у Господа моего. Вот беда-то вам.

И улыбнулась не без лукавства.

Скоро ей стало понятно, что эти вежливые, но суровые, бестрепетные даже какие-то люди (у одного она заметила пистолет в кобуре под мышкой) приехали к ней как к единственной свидетельнице появления в небе над городом образа Богородицы с младенцем.

Пистолет она увидела, когда один из гостей всё пытался заглянуть в её глаза, всматривался и с той, и с другой стороны, будто там, в глазах монахини, выискивал что-то.

– Зачем же, голубчик, ты эдак льнёшь ко мне? – спросила инокиня.

– Матушка Иринья, так ведь ваши глаза Её видели! И может быть, даже на сетчатке отпечаток остался.

Она опять без тени печали улыбнулась «учёному» и ничего не сказала. Им нужно было, чтобы она привела их на то место в городе, где ей открылось чудо. Они усадили её в свою машину, сами устроились по бокам и поехали.

Она сидела меж ними, слушала их, приглядывалась и думала, что за много лет это были первые люди из мира, для коих несомненным стало пребывание Богородицы над городом, это были её верные сподвижники, как сгинувший в лагерях отец Михаил, как её кровный батюшка – доброволец Белой гвардии, и все славные её воины.

Соседи справа и слева от неё молчали, придерживая её на крутых поворотах. А тот, что сидел возле шофёра, всё не унимался, поворачивался к ней, расспрашивал о монашеской жизни и смущал долгим разглядыванием. И потом вот что сказал:

– С вас, матушка Иринья, хоть образ пиши, такая вы вся прямо...

После чего они стали припоминать, существует ли в иконописи лик пожилой Богородицы. И она тоже задумалась об

этом, ничуть не соотнося с собой предмет этого разговора...

В городе она попросила остановиться напротив дома, бывшего когда-то под № 135. Не вылезая из машины, через опущенное стекло указала, где она с детьми играла в «чижика» много десятков лет назад.

И тогда её спутники сказали ей, что они здесь построят храм.

А ночевать отвезли в гостиницу, в большую светлую комнату с невиданно широкой кроватью...

# Воришно болото (По Писахову)



Во всякой деревне на Двине своя болезнь имелась. В Ляв-  
ле – падуча, в Ширше – стригуча, а у нас в Уйме – липуча.  
Или по-научному, «не-бери-чужого-сроду». Кто чужу вешш  
схватит, к тому эта вешш и прилипнет. Всё твоё нехороше

дело сразу на вид выставляется, на людской суд.

Потому и покраж у нас сроду не было.

А ежели нарождался какой мальчонко, на руку нечистый, али кака баба на соседкино добро зарилась, либо жадный до дармовщинки мужичонко заводился, так мы всей деревней ташили их под гору в Воришно болото, в лечебну грязь.

Наше Воришно болото – одно на весь свет. Спокон веку пользуем. Липучей заразился – сиди, отмокай! Болото дюже вонюче. Со дна горячий ключ струится, пузыри хлюпают, тепло и вязко. Самому не выползти. У нас крюки специальные на соснах развешаны. Кто сомлеет – вытаскивам. В реке выполаскивам. После этого у человека отшибат всяку охоту к чужой вешши.

А тут было лихари питерски в силу вошли. Царя порешили, у справных людей всё добро отняли и за нашу Уйму взяли.

Чтобы ловчей в избах по углам шарить, в один гуменник всех баб согнали. А в другой – мужиков.

День сидим, второй... Я мужиков успокаиваю: мол, недолго осталось ждать. Так и есть! На третий день ворота гуменника распахнулись – на пороге лихари питерски. Мы за головы схватились. Век такого не видавали. Стоят все, словно пчёлами облепленные, короста на них из щепы от порубленных икон, из чугунины от разбитых колоколов, с головы до пят обсыпаны мукой, солёной рыбой обклеены, – не отодрать. Просят избавить от напасти.

Я говорю:

– Болото есть целительно. Посидеть в нём – так и оттянет.

– Веди же скорее!

Залезли болезные в лечебну грязь, им сразу полегчало. Чужо добро отпадать стало. Они и на крепко место наладились, мол, выздоровели. А зыбь наша сама меру знат. Не даёт им ходу.

– А нельзя ли побыстрее? – просят.

– Быстрая вода до моря не доходит, – говорю. – Сидите тихо и раздумчиво, чтобы до костей пробрало...

На корню бы мы извели заразу эту питерску всем народам Земли на радость, если бы не бабы! Порато жалостливы они у нас в Уйме. Зла не помнят. Стали болотным приносить поесть. И своим мужикам все уши прожужжали, мол, хороших людей зря мочим.

И вот ведь беда, мужики у нас в Уйме тоже не больно настойчивы. Закрючили болезных, наскоро сполоснули и отпустили. Забыли старый порядок: послушай бабу и сделай наоборот.

Питерски лихари недолеченные бегом из деревни убежали. Окопались за околицей и по нам стрельбу открыли. Решили Уйму извести. Палят из пушек – мочи нет.

Мужики меня на руководство выдвинули.

Велел я все телеги, что есть в деревне, на Воришном болоте поставить оглоблями в лечебну грязь. А бабам – прыгать на задки. Которы толще, тех и по одной хватало. А которые

без мясов, те в обнимку по двое.

Сам я на пригорок встал. Махну рукой, бабы вскочат на задки, опружат телеги. Оглобли с лечебной грязью разом вскинутся, – вонючи струи летят через лес, напрямик в окопы к лихоманам, на долечивание...

Долго перестреливались. Почитай семьдесят лет.

У них снаряды кончились, а у нас в Воришном болоте и на вершок не ubyло...

# Ульян Ожогов



## 1

Дед, как выпьет, так выходит на берег, усаживается на слип<sup>30</sup> и начинает:

– Наши ожоговские карбаса, Ульянко, издали видны! вон

---

<sup>30</sup> Слип – наклонная береговая площадка для спуска судов со стапеля на воду или подъёма из воды.



под парусом идёт. Форштевень с лиселем – словно ручка у черпака. Скулы навыворот. По корме фальшборт. С екатерининских времён мы, Ожоговы, первые карбасники. Да хотя бы и баркас сошьём или вельбот – всё для нас нипочём. Что уж говорить про какой-то там дощаник или коснушу. Наша верфь – потомственная. И всё это, парень, будет твоё!

Мальчик болтает ногами в воде. У деда в руке трубка-носогрейка.

Деревянная плаха на коленях мальчика, кривой резец податливо входит в осиновую мякоть, выхлёбывает лишка до тонкого донца. Будет новая игрушечная лодочка взамен убежавшей под парусом к настоящим, словно по зову крови. Слёзы давно высохли. Дедовские речи сулят счастливую жизнь впереди, в пределах родового ремесла. Кого-то годовалым сажают на коня, а Ульяна повеличали плаванием на корабле. Где-то ребёнку в знак мужского достоинства вкладывается повод в руки, а Ульяну дали шкоты. За школьной партой он первый, и на семейной верфи всегда при почётных делах. Вьёт из пакли смоляные жгуты. Сортирует заклёпки. На поднос, на посыл тоже охоч и умел. Любимец у корабелов. «Всему у них учись, Ульянко, – наставляет дед, – только не скверному слову...»

– Своё дело, Ульянко, – самое большое счастье для человека. Мне эту верфь мой батюшка передал, я – своему сыну, то есть отцу твоему. А он – обязан тебе. Ты единственный наследник. Расти. Человеком станешь!..

Он растёт и в себе выращивает эту верфь в Заостровье, храмом его души становятся лебёдки на треногах, штабеля досок в сушильнях, звон молота в кузнице, он любит каждую стружку, отщепину, проникается умом во всякие изгибы шпангоутов, в развалы бортов и острия скул. Отец, весельчак и выпивоха, гармонь готов обнимать с утра до ночи, а Ульян бессонно сторожит семейное дело, как мать младенца. Скоро, ещё в отрочестве, перенимает первенство – отец желанно с плеч сваливает. В Галиции тата лишается ноги и, придя домой, ударяется в политику. Его выбирают секретарём Совета. В конторке на верфи он устраивает кабинет, вывешивает красный флаг и однажды объявляет, что верфь передаёт в дар новой власти. Два дня гуляют они с нотариусом, не просыхая, а на третий ударяют по рукам и решение гвоздят печатью.

Словно самого Ульяна в рабство продают.

Ночью пробравшись в контору отца, Ульян выписывает себе документ на чужое имя (Николай Петров). Выливает на штабеля несколько баклажек скипидара и зажигает.

На ялике выгрёбает подальше от пылающего берега, и волны отлива к утру выносят его в море. Он поднимает парус и нацеливается к норвегам. Катер береговой охраны перехватывает судёнышко у самого Канина. Его отпускают. Он год живёт у поморов в работниках. Перебирается на Мурман, оттуда, минуя родные края, – в Сибирь. К тому времени понимает: порыв его из коммунной неволи преждевременен.

Без языка в свободных странах не осесть.

Попадает под призыв и оказывается в военном училище.

## 2

На первой же лекции впечатляет полковника Красовского тревожный, взыскующий взгляд этого молодого курсанта, кипящая внутренняя жизнь в этом слушателе.

Они сходятся, как родственные души.

Полковник выписывает ему увольнения три раза в неделю. Вместо холодной затхлой казармы, парень проводит вечера в тепле и бархате интеллигентной квартиры со служанкой у стола и хозяйкой за роялем.

Бывшая мадам учит его немецкому и французскому.

Полковник проходится с ним по университетскому курсу мировой культуры. И к выпуску из училища беглец уже читает германцев в подлиннике, отчётливо выговаривает самое длинное слово в немецком: «Donaudampfschiffahrtselektrizitätenhauptbetriebswerkbauunter».

К несчастью, среди книг начальника училища находится и «Майн кампф». Вполне пристойная в годы дружбы с Гитлером, эта книга становится запрещённой. Времена изменяются настолько, что обладание ей рассматривается как шпионаж. И вместо лейтенантской портупей получает умник для опояски обыкновенную верёвку.

А полковник – расстрел.

В лагере он с нетерпением ждёт войны. Война приходит. Он отключает в себе всяческое блатное духарство, обнаруживает всё ловкое, солдатское, обточенное тремя годами в военном училище, и зимой 1942 года, с первой же маршевой ротой, в штрафном батальоне попадает из лагеря на фронт.

Хорошим знаком считает прибытие на Карельский перешеек. До владений маршала Маннергейма, кумира полковника Красовского, отсюда, с передней линии окопов у озера Суоярви, отделяет его метров пятьсот.

### 3

...В тумане они подползают незамеченные вплотную к колючей проволоке. Ножницы в тишине рассвета клацкают оглушительно. Сержант торопливо режет, и они успевают спрыгнуть в окоп до того, как рядом длинно, взхлёб, начинает бить у финнов трескучий, звонкий Lahti-Saloranta<sup>31</sup>.

Сержант бросает гранату на этот звук. Взрывы следуют один за другим, накатываются крики русских. От взрывов туман редет. Становится виден ход сообщения, любовно обшитый досками. Коврик перед блиндажом.

Сержант бросает в открытую дверь гранату за гранатой. А он для верности «поливает» нутро землянки из автомата.

Теперь слышатся уже крики финнов: «Хурроу!»

---

<sup>31</sup> Lahti-Saloranta M-26 – финский ручной пулемёт, разработанный конструкторами Аймо Лахти и Арво Салоранта в 1926 году.

– Отход, Колька!

Сержант вскакивает на приступок, оглядывается – напарник сидит, словно вмурованный в стенку. Ранен? Убит?

– Колька!

Автомат «мертвеца» угрожающе поворачивается в сторону сержанта.

– Уходишь, гад? – озаряет сержанта.

Односекундно дёргается ППШ бойца в окопе, и сжимается воздух от очередного взрыва.

Сержант тягуче сползает в окоп и замирает, как бурдюк.

Над бруствером появляется белокурый стрелок в серой мохнатой куртке легиона «Лотта Свард». Он целится из винтовки, кричит:

– Кядётъ илёс!<sup>32</sup>

Ладони красноармейца тянутся вверх...

Его ведут во второй и третий ряд окопов – в штабной блиндаж у подножия скалы.

Спрашивают на ломаном русском:

– Какой част?

Он усмехается и отвечает на чистом немецком:

– Strafbataillon 125 Regiment 24 Einteilung.<sup>33</sup>

Выждав миг удивления, добавляет на финском:

– Muutin puolellasi vapaaehtoisesti. Haluan taistella

---

<sup>32</sup> Руки поднять.

<sup>33</sup> Штрафной батальон 125-го полка 24-й дивизии (нем.).

Он согласен на сотрудничество.

Его сажают на цепь возле нужника.

Завтра в тыл.

...Текут несколько лучших часов его жизни. Он пребывает в полном согласии с самим собой с тех пор, как уходил на ялик от рукотворного пожарища на родном берегу. Жуёт галеты, смеётся грубым шуткам солдат в нужнике. И даже задрёмывает, расплывшись в счастливой улыбке.

Вечером советские войска контратакуют.

Финны забывают о перебежчике.

За плен его снова бросают в лагерь.

## 4

...Этап сидит во рву под насыпью железной дороги. Неделя в теплушках на штрафном пайке. Голодные, грязные, теперь они мокнут под дождём...

Вода льётся с бескозырок по серым лицам, затекает в задники ботинок. Рукава фуфаек уже не впитывают сырость с губ. Зэки отдуваются от дождя и отплёвываются.

Мокнут и охранники наверху, на бровке у вагонов. Автоматы с полными дисками патронов. И псы с обвислой шерстью сидят там, на шпалах, жалкие.

---

<sup>34</sup> Перешёл на вашу сторону добровольно. Желая биться с большевиками.

Трое на короточках – Пахан, Пчёла и он, № 798.

Отъевшийся круглолицый Пчёла – подручный старосты барака – корчится от холода и злобно поглядывает на № 798.

– Ну что, вояка, решился уже или и дальше бодягу будешь разводить? Думал, за войну тебе маза от кумовей выйдет? А они тебя опять к нам. Зассал тогда срок принять, винтовку взял, теперь, сука, за плен вдвое получил. Тебе не жить, если нож не поцелуешь. Сявки жизни не достойны. Сегодня последний срок для тебя. Ну, что старшему передать?

Выпуклые глаза пахана из-за спины Пчёлы выжидательно мерцают под дождём, как чёрный агат. Он ждёт ответа.

По сговору с администрацией этот Расписной проводит чистку. Требуется: присяга вора или смерть.

Трупы вытаскивают за ворота барачных каждой ночью. Сегодня подходит очередь и № 798.

– Какой день сегодня, Пчёла? – спрашивает № 798.

– Кажись, вторник.

– Ну вот, так и передай ему: «По вторникам кура яиц не несёт».

– Не гони порожняк.

– Вкури, Пчёла! Вкури!

– Заясни, бл!.. – требует подручный.

– Просто передай: «По вторникам кура яиц не несёт». Так и скажи.

Сальное лицо «шестёрки» блестит от воды, в недоумении урка часто моргает розовыми кроличьими глазками.

Рядом с ним обливается тем же дождём лицо № 798 совсем другой человеческой породы – с глазами насмешливыми, блестящими от бешеной работы ума...

## 5

С насыпи слышится крик начальника конвоя. Вторя ему, лают псы. Щёлкают затворы. Зэки поднимаются на ноги и, разбитые на пары, начинают перекатывать бочки с кислотой из вагонов к варочному котлу в цехе бумажной фабрики на реке со смешным названием Пукса.

В паре с № 798 оказывается Пчёла.

Деревянная горка уходит далеко вверх, к горловине котла объёмом в пять железнодорожных цистерн. На досках – жидкая глина. Пчёла только делает вид, что толкает. Нагло смеётся в лицо и похлопывает по шву в ватнике, где спрятана заточка.

– Чего-то не въехал Расписной в твою маляву. Ты баланду замутил – теперь ответ придётся держать. Сперва «опустим» всем баракom, потом в парашу головой.

№ 798 перестаёт толкать, вся тяжесть падает на злобного урку.

– Всё, конец тебе, пёсья вошь! – визжит разъярённый Пчёла, сучит ногами по мокрому глинистому настилу. Находит опору, но № 798 ударом тяжёлого ботинка подшибает его и опять вынуждает через силу толкать в одиночку.



Десятки бочек вкатываются следом, измождённые рабы тратят силы впустую. Вал матерщины обрушивается на Пчёлу. Ему не удаётся тотчас выхватить заточку – он вынужден катить бочку до площадки. Лишь успевает провести ребром ладони по горлу.

– Такого не прощают, душок!

– По вторникам кура яиц не несёт, – повторяет № 798.

На самом верху запаянные бочки с кислотой под присмотром вольного инженера им предстоит ещё вскрыть, словно консервные банки, большим воротом-ножом. № 798 уходит первым. Пчёла немного задерживается, торопливо разрывает подкладку и выхватывает трёхгранное «пыряло». Догоняет он № 798 на другой стороне громадного котла. Ботинки приближающегося Пчёлы грохочут по железному настилу. Увернувшись от удара, № 798 продлевает атакующий разгон, заламывает руку блатаря и направляет бегущего по инерции к горловине котла, смердящего испарениями серной кислоты.

Грохот бочек по рубчатым сходням заглушает дикий предсмертный вопль. Крик разносится внутри котла, как в колоколе, и даже после всплеска ещё долго мечется в клёпанных стенах...

влезает между нар и откидывается на вытянутой руке – он «держит базар» за содеянное.

Свободная рука, то зажатая в каменный кулак, то расправленная в когтистую лапу, описывает в проходе замысловатые фигуры. Размочаленный шарф от случайного удара по нему трепещет, словно флаг на ветру.

Певучий пронзительный тенор № 798 завораживает.

– Ирод резал, кровь пускал. Рамзее уже бросал в воду. Римляне перед решающей битвой заживо закапывали рабов на Бычьем Рынке, и Карфаген был разрушен! «Кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и погрузили его во глубину морскую...» А германцы превзошли всех в наведении порядка и дисциплины! Они топили в болоте...

Своей речью он тревожит тени патрициев в сенате Рима...

**...Хуже наказания только безнаказанность... Война всех против всех... «Суров закон, но это закон...» Dura lex, sed lex!**

Пахан поднимает руку – он умолкает. Тишина в бараче стоит провальная. Даже туберкулёзники не кашляют.

– Про болото – это ты к чему, Дух? – медленно и глухо произносит пахан.

– Я хочу сказать, что на твою финку, Расписной, у всякого найдётся своя финка. А устрашение должно быть тотальным.

– Не по мазе раздухарился... Заясни, – раздаётся из глубины барака.

– Ха! Болото, бл...

– Не въехали чего-то?

№ 798 разъясняет:

– Болото хрустальным ручейком покажется... В кислоту! Всех, кто по старому закону, – в кислоту! В бочку, на трап – и в котёл...

Гулом возмущения откликается барак. Слышатся крики недовольных: «Габки не раскидывай!», «Красным слова не положено!», «Мужику запаadlo законы менять!»

Пахан согласно кивает и произносит: «Ша!»

После чего все начинают укладываться спать, ворча и матерясь вполголоса...

В том, 1953 году долго ещё блатной мир сотрясают кровавые расправы, но здесь, на Пуксе, сопротивление старых воров оказывается сломленным...

## 7

Освобождают из зоны обычно в субботу после обеда, чтобы тюремщикам можно было «закосить» воскресные пайки выбывающих.

Женщины посёлка стоят у ворот тюрьмы нарядные, с записочками за обшлагами (сейчас бы эти бумажки назывались визитками). Одеты в прямые юбки, в колоколы. На головах – «менингитки» по моде или яркие платки.

Пестрят на помаженные губы, трепещут завитки и чубчи-

ки самодельного перманента.

Скрипят ворота. Стая прощёных ээков переходит черту. При виде женщин смущаются даже самые прожжённые уркаганы, кривляются, защитно переругиваются. Со стороны женщин доносятся слова поздравления, запах духов.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.